This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

Slav 4236.1.995

HARVARD
COLLEGE
LIBRARY

POKROVSKII

„LOMONOSOV„

Михаилъ Васильевичъ

ЛОМОНОСОВЪ.

ЕГО ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНІЯ.

Сборникъ историко-литературныхъ статей.

СОСТАВИЛЪ

В. Покровскій.

МОСКВА.

Типографія Г. Лисснера и Д. Совко.

Воздвиженка, Крестовоздвиж. пер., д. Лисснера.

1905.

Slav 4236.1.995

HARVARD
UNIVERSITY
LIBRARY
OCT 9 1970

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стран.

Очеркъ состоянія Россіи въ эпоху дѣятельности Ломоносова, *Соловьева* 1
Родина Ломоносова, *Пекарскаго* 10
Первыя впечатлѣнія дѣтства въ родномъ краю и Славяно-Греко-Латинской академіи, *Лавровскаго* 14
Ломоносовъ и Славяно-греко-латинская академія, *Воскресенскаго* . . . 21
Вліяніе Московской академіи на Ломоносова, *его же* 42
Ломоносовъ въ Марбургѣ, *Лавровскаго* 44
Вліяніе Вольфа на Ломоносова, *Сухомлинова* 51
Ломоносовъ въ Фрейбургѣ и возвращеніе на родину, *Булича* 69
Источники вдохновенія Ломоносова, *Порфирьева* 77
Взглядъ Ломоносова на церковно-славянскій языкъ, *Будиловича* . . . 85
Грамматика Ломоносова, *Грота* 87
Достоинство и значеніе грамматики Ломоносова, *Давыдова* 102
Реторика Ломоносова, *Пекарскаго* 114
Реторика Ломоносова, *Будиловича* 116
Взглядъ Ломоносова на поэзію, *Будиловича* 122
Вліяніе Гюнтера на Ломоносова, *Грота* 127
Значеніе Ломоносова въ изящной словесности, *Никитенка* 129
Ломоносовъ въ борьбѣ съ гонителями наукъ, *Бодянскаго* 144

Очеркъ состоянія Россіи въ эпоху дѣятельности Ломоносова.

Миновала первая четверть XVIII вѣка, ознаменованная для русскихъ людей великимъ и страшнымъ переворотомъ. Преобразователь былъ во гробѣ, и умеръ онъ, не воспользовавшись своимъ правомъ назначить себѣ преемника кого хотѣлъ; некого было ему выбрать подобнаго себѣ. Дѣйствительно, преемники Петра не обладали его желѣзною волей, которая не останавливалась ни передъ чѣмъ, которая все увлекала за собою, и теперь-то, слѣдовательно, наступило благопріятное время для реакціи, теперь явилась возможность объявить преобразованіе личнымъ дѣломъ Петра, не народнымъ, раздѣлать его. Но этого объявленія, этой раздѣлки не послѣдовало. Россія неуклонно продолжала итти по новой дорогѣ, проложенной Петромъ, и тѣмъ засвидѣтельствовала, что дѣло Петра было дѣломъ народнымъ.

Время отъ кончины Петра Великаго до царствованія Екатерины II обыкновенно представляютъ временемъ печальнымъ, безуряднымъ, въ которое на первомъ планѣ были придворныя интриги дворцовой революціи, въ которое не было сдѣлано ничего замѣчательнаго. Но всмотримся внимательнѣе въ явленія, и, быть можетъ, приговоръ измѣнится.

Со второй четверти XVIII вѣка прекращается напряженное состояніе общества, усиленная его дѣятельность, которыя знаменовали первую четверть вѣка, какъ время революціонное. Внѣшнія войны прекратились. Полтавскій побѣдитель завѣщалъ Россіи миръ, давъ ей силу и величіе, — завѣщалъ не вмѣшиваться въ западно-европейскія распри, какъ чуждыя Россіи по ея прежней замкнутой жизни. Русскимъ людямъ былъ теперь досугъ спокойно и внимательно осмотрѣться въ своемъ новомъ положеніи, разобраться въ томъ, что было

произведено переворотомъ. Разумѣется, главная задача преобразованной Россіи состояла, и даже теперь состоитъ, въ опредѣленіи отношеній своего къ чужому, и прежде всего, по непосредственности столкновенія, въ опредѣленіи отношенія своихъ къ чужимъ. Сущность переворота заключалась въ томъ, что русскіе люди сознали необходимость учиться у иностранцевъ; толпами отправлялись они для этого за границу; но время не терпѣло, и толпы иностранцевъ вызывались въ Россію помогать въ новомъ дѣлѣ, котораго было такъ много. Они являлись необходимо въ качествѣ учителей, съ сознаніемъ своего превосходства; русскіе должны были учиться у нихъ, работать подъ ихъ руководствомъ, слушаться ихъ: все это вело неизбѣжно къ сознанію своей слабости, своей зависимости. Положеніе крайне опасное, ведшее къ нравственному покоренію, да и не къ одному нравственному, потому что иностранцы надобились и въ правительственномъ дѣлѣ. „Русскіе ничего не смыслятъ въ заграничныхъ дѣлахъ, толковали иностранцы Петру; надобно, для интересовъ Россіи, на всѣхъ дипломатическихъ постахъ замѣнить русскихъ — невѣждъ — знающими иностранцами“. Петру, по праву генія, легко было избѣжать опасности и опредѣлить, какъ слѣдовало, отношенія между своими и чужими. Многосторонне и ясно смотрѣлъ онъ на свое дѣло, и ничто не могло смутить его, ни ропотъ своихъ ни притязанія чужихъ. Постоянно имѣя въ виду только свое и своихъ, Петръ и на военномъ, и на дипломатическомъ, и на всѣхъ другихъ поприщахъ хотѣлъ, чтобы свои учились и какъ можно скорѣе сравнялись съ искусными иностранцами; его нельзя было смутить указаніемъ, что свои ошибаются, и потому надобно замѣнять ихъ иностранцами: онъ зналъ, что ошибки неизбѣжны въ началѣ, что ошибками человѣкъ учится, и потому не смѣнялъ своихъ, т.-е., не бралъ ихъ изъ школы. На бранномъ полѣ и у себя въ токарнѣ Петръ безцеремонно раздѣлывался съ иностранцами, имѣвшими неосторожность столкнуться съ его русскими даровитыми вождями, съ его русскими искусными, выученными мастерами. Отъ иностранца-наемника отличался иностранецъ, усыновлявшійся Россіи, безвозвратно отдававшій ей на служеніе свое дарованіе и искусство: такихъ людей высоко цѣнилъ Петръ и называлъ ихъ *своими*, наравнѣ съ русскими,

которые, въ свою очередь, были далеки отъ того, чтобъ отказывать имъ въ братствѣ. Но въ царствованіе Петра ни одинъ и изъ этихъ усыновившихся Россіи иностранцевъ не занималъ высшаго правительственнаго мѣста. Петру легко было такъ распорядиться, легко было щадить народное чувство, опять по праву генія: онъ умѣлъ изъ русскихъ людей выбрать достойныхъ стоять на первомъ планѣ, при чемъ всѣ недостатки восполнялъ своими личными великими средствами.

Такимъ образомъ по кончинѣ Петра судьба Россіи была въ рукахъ русскихъ людей: ни одного иностранца не видимъ мы при рѣшеніи вопроса — кому занять мѣсто великаго императора? Но отсутствіе силы, соединявшей всѣ другія силы второстепенныя и направлявшей ихъ къ общей цѣли, не замедлило обнаружиться. Изъ за вопроса о престолонаслѣдіи встала рознь между лучшими русскими людьми, оставленными Петромъ Россіи. Меншиковъ сгубилъ Толстого съ товарищами; подъ Меншикова подкопались другіе и свалили какъ новаго Голіаѳа, по ихъ выраженію. Голицыны и Долгорукіе своею попыткой ограничить императорскую власть въ пользу верховнаго тайнаго совѣта возбудили противъ себя генералитетъ и высшее дворянство, которые, восторжествовавъ, предали верховниковъ. Ряды русскихъ знаменитостей разрѣдѣли: между русскими птенцами Петра Великаго оказался сильный недочетъ, и естественно выступили на первый планъ птенцы иностранные — Остерманъ, Минихъ. Но послѣ этихъ знаменитостей иностраннаго происхожденія, усыновившихся Россіи, считавшихъ свою честь и славу неразрывно соединенными съ ея честію и славой, подлѣ Остермана и Миниха стали Биронъ и Левенвольдъ съ товарищи, хотѣвшіе только пожить какъ можно веселѣе, покормиться какъ можно сытнѣе на счетъ Россіи. Наступила бироновщина, осторожная вначалѣ, но потомъ все болѣе и болѣе разнуздывавшаяся. Почему же она могла разнуздываться? Одинъ иностранный министръ при русскомъ дворѣ замѣтилъ другому: „Озлобленіе русскихъ противъ нѣмцевъ страшное; надобно опасаться, чтобы русскіе не сдѣлали съ нѣмцами того же, что сдѣлали съ поляками при Лжедимитріѣ“. — „Нечего опасаться, отвѣчалъ другой: у русскихъ теперь нѣтъ вождей“. Вожди изгибли въ усобицѣ.

Русскіе люди ждали вождей, но господствующая, нѣмецкая партія поспѣшила приготовить имъ торжество тѣмъ же самымъ средствомъ, какимъ прежде русскіе приготовили господство иностранцевъ, — усобицей. Бирона свергнулъ Минихъ; Миниху давно уже было тѣсно вмѣстѣ съ Остерманомъ; Остерманъ свергнулъ Миниха, но Остермана обезсиливали иностранцы, мелкіе по своимъ способностямъ, сильные по вліянію своему на правительницу Анну Леопольдовну. Время было самое благопріятное для сверженія правительства, вдвойнѣ незаконнаго въ глазахъ русскихъ людей. Непосредственное предводительство взяла на себя женщина, но эта женщина была дочь Петра Великаго. Переворотъ совершился; русское дѣло восторжествовало, и, пригрѣтые этимъ торжествомъ, выросли, поднялись отовсюду русскіе люди, наполнившіе знаменитыми дѣлами царствованіе Елисаветы и Екатерины II.

Но эта борьба, столь важная и столь естественная при новыхъ условіяхъ, въ которыя предшествовавшая исторія поставила Россію въ XVIII вѣкѣ, эта борьба представляетъ только одну сторону жизни Россіи въ описываемое время. Уже было сказано, что русскимъ людямъ, по смерти Петра Великаго, предстояло осмотрѣться въ своемъ новомъ положеніи, разобраться въ томъ, что было произведено переворотомъ. Задача была трудная, какой исторія не представляла еще ни одному народу въ такой многосторонности: воздадимъ же благодарность русскимъ людямъ XVIII вѣка за то, что они не отказались отъ этой задачи, не отчаялись въ своихъ силахъ, не отчаялись въ спасеніи отечества, и, вмѣсто легкомысленнаго взгляда свысока, присмотримся съ должнымъ уваженіемъ къ ихъ дѣятельности. Послѣ переворота, какъ обыкновенно бываетъ, развалины стараго покрывали землю, подлѣ нихъ виднѣлось новое, крѣпкое, хорошо принявшееся, полупринявшееся и вовсе не принявшееся, поблеклое: нужно было разобраться во всемъ этомъ, и русскіе люди начинаютъ разбираться. Будемъ ли мы удивляться тому, что, употребляя естественные и необходимые въ своемъ положеніи пріемы, они подходятъ къ новымъ учрежденіямъ съ разныхъ сторонъ, оглядываютъ пробуютъ, толкуютъ, спорятъ, крѣпки они, или шатаются, годятся для Россіи или непригодны ей, измѣняютъ, отмѣняютъ совсѣмъ, потомъ снова возстановляютъ?

Наблюдатель поверхностный видитъ здѣсь какую-то сумятоху, бѣзурядицу; наблюдатель, внимательный къ законамъ историческихъ явленій, спрашиваетъ: какъ же могло быть иначе? Преобразованіе, освободивъ русскаго человѣка изъ той узкой сферы, въ какой онъ до тѣхъ поръ вращался, представивъ ему многообразные и широкіе ряды новыхъ явленій, задало работу его уму на долгое и долгое время. Эта-то работа возбужденной мысли такъ важна и поучительна для насъ, несмотря на всѣ неизбѣжныя уклоненія и неправильности; эта-то постоянная работа мысли надъ важнѣйшими вопросами народной жизни и засвидѣтельствовала живучесть народа, его силу и условила собой поступательное движеніе, вслѣдствіе чего во второй половинѣ вѣка мы видимъ такую разницу съ первою половиной. Новая Россія получила отъ древней печальное наслѣдство — крѣпостное состояніе крестьянъ, явившееся вслѣдствіе экономическихъ условій первобытной, дѣвственной страны, бѣдной промышленною дѣятельностію, вслѣдствіе несоразмѣрности огромнаго земельнаго пространства съ малочисленностію населенія, вслѣдствіе невозможности для мелкихъ землевладѣльцевъ обойтись безъ крѣпостныхъ работниковъ, а эти землевладѣльцы составляли войско, войско въ государствѣ континентальномъ, окруженномъ со всѣхъ сторонъ врагами, въ которомъ по этому интересъ войска былъ интересомъ господствующимъ. Цѣлію преобразованія было указаніе и приготовленіе средствъ къ улучшенію экономическаго быта Россіи. Но понятно, что это улучшеніе не могло послѣдовать вдругъ въ такой степени, чтобы повести къ отмѣнѣ крѣпостного состоянія. Новая Россія должна была терпѣть его какъ необходимость; но возбужденная мысль не могла обойти это явленіе. Главный вопросъ, занимавшій русскихъ государственныхъ людей въ началѣ второй четверти XVIII вѣка, былъ вопросъ объ улучшеніи участи крестьянъ, при чемъ, вслѣдствіе возбужденія мысли, явилось сознаніе о тѣсной органической связи между отдѣльными частями народонаселенія: „Поиеже армія такъ нужна, что безъ нея государству стоять невозможно, того ради о крестьянахъ попеченіе имѣть надлежитъ, ибо солдатъ съ крестьяниномъ связанъ какъ душа съ тѣломъ, и когда крестьянина не будетъ, тогда не будетъ и солдата“. Воспользовались мирнымъ временемъ,

чтобы сдѣлать всевозможныя облегченія крестьянамъ въ платѣ податей, а главное, приняли мѣры для освобожденія крестьянина отъ притѣсненій солдата. Такъ распоряжались русскіе государственные люди и иностранцы, усыновленные Россіи; разумѣется, иначе должны были распоряжаться иностранцы незваные и непрошеные, и главная тяжесть Бироновской эпохи состояла именно въ измѣненіи прежняго льготнаго отношенія къ крестьянамъ, въ безчеловѣчномъ правежѣ недоимокъ, при чемъ господствовала извѣстная система выписываемыхъ изъ-за границы управителей русскими имѣніями: собрать какъ можно болѣе дохода, не обращая никакого вниманія на плательщиковъ.

Вслѣдствіе продолжавшихся неблагопріятныхъ экономическихъ условій въ Россіи XVIII вѣка, вопросъ о крѣпостномъ и вольномъ трудѣ не могъ быть рѣшенъ въ пользу послѣдняго; Екатерина Великая принуждена была признать вопросъ неразрѣшимымъ для своего времени и отказаться отъ любимой мысли освобожденія крестьянъ; затрудненія, которыя встрѣчаются теперь во второй половинѣ XIX вѣка въ приложеніи вольнаго труда на мѣсто уничтоженнаго крѣпостнаго, всего лучше уясняютъ намъ дѣло въ XVIII и предшествовавшихъ вѣкахъ. Но, несмотря на невозможность рѣшенія вопроса въ XVIII вѣкѣ, исторія не останавливалась, движеніе шло съ другой стороны, со стороны землевладѣльческой, потому что бытъ земледѣльца тѣсно связанъ съ бытомъ землевладѣльца, съ его положеніемъ матеріальнымъ и нравственнымъ. Прежде служилый человѣкъ жилъ на своемъ помѣстьѣ, на участкѣ земли, которымъ владѣлъ временно, жилъ день за день, не имѣя побужденій къ улучшенію своего хозяйства; есть дѣти, много ихъ — всѣ будутъ испомѣщены. Переводъ помѣстья изъ временнаго владѣнія въ вѣчное, смѣшеніе его съ вотчиной были первымъ шагомъ къ тому, чтобы землевладѣльцы почувствовали себя на своихъ ногахъ, почувствовали себя совершеннолѣтними, освобожденными изъ подъ опеки, съ обязанностію думать о себѣ и о своихъ; обязанность пріобрѣтать извѣстное образованіе также сильно нарушала прежній печальный покой. Съ этихъ поръ значеніе землевладѣльческаго сословія становится подлѣ значенія сословія служилыхъ людей и, мало по малу, пересиливаетъ послѣднее: въ 1736 году служба

ограничена двадцатипятилѣтнимъ срокомъ, и отецъ получилъ право оставлять одного сына дома для хозяйства, а черезъ 25 лѣтъ пріобрѣтено было право служить и не служить. Трудно было для землевладѣльца приступить къ улучшенію своего хозяйства, трудно было для купца, для промышленника усилить свою торговлю и промыслы въ томъ обществѣ, гдѣ съ занятой суммы нужно было платить 12, 15 и 20 процентовъ. Возбужденная мысль обратилась и на это явленіе. „Этого во всемъ свѣтѣ не водится“, заговорили русскіе люди, заговорили они такъ потому, что все болѣе и болѣе знакомились съ тѣмъ, что водится, и что не водится на свѣтѣ, и въ 1754 году явились государственные заемные банки, ссужавшіе деньги подъ залогъ за 6 процентовъ. Возбужденная мысль не могла не остановиться въ то же время на страшномъ препятствіи для торговли, на внутреннихъ таможняхъ, и внутреннія таможни исчезли вмѣстѣ съ 17 мелкими сборами.

Но мы не можемъ ограничиться указанными сторонами историческаго движенія; есть еще сторона, имѣющая для насъ высокій интересъ. Люди Екатерининскаго времени стали неблагосклонно отзываться о времени Петра Великаго, которое въ ихъ глазахъ являлось временемъ грубости, варварства, чрезмѣрной жесткости нравовъ. Переводя эти отзывы на историческій языкъ, мы говоримъ, что отъ времени Петра Великаго до Екатерины II происходило извѣстное движеніе, которое вело къ смягченію нравовъ. И дѣйствительно, мы не можемъ не замѣтить этого движенія, которое иногда обнаруживается въ явленіяхъ, незначительныхъ для неопытнаго глаза, но чрезвычайно важныхъ для историка. Въ одно царствованіе, напримѣръ, учредятъ надзоръ за кулачными боями, чтобъ бойцы не били противниковъ ножами, камнями, не бросали пескомъ въ глаза; въ другое царствованіе уничтожатъ варварскій обычай ставить внутри столицы каменные столпы, гдѣ на кольяхъ втыкались тѣла и головы казненныхъ преступниковъ; потомъ остановятъ смертную казнь, а тамъ уничтожатъ тайную канцелярію, и прекратятъ преслѣдованіе раскольниковъ.

Прослѣдивъ это движеніе, эту постоянную работу возбужденной мысли, легко можно объяснить себѣ появленіе человѣка, котораго великую дѣятельность мы собрались те-

перь помянуть. Россія второй половины XVII вѣка, сознавшая невозможность оставаться въ прежнемъ состояніи, этимъ самымъ сознаніемъ приготовившая почву для преобразовательной дѣятельности, ждала, звала человѣка — и явился Петръ. Россія первой половины XVIII вѣка, Россія съ возбужденною переворотомъ мыслію, съ возбужденною потребностію знанія, ждала, звала человѣка — и явился Ломоносовъ. Не окажемъ же ему плохой услуги, не выдѣлимъ его изъ вѣка, изъ народа. Одиночество безплодно. Великіе люди потому то и велики, что работаютъ съ цѣлымъ народомъ, съ цѣлымъ вѣкомъ. Народы живые и сильные благоговѣйно относятся къ дѣятельности своихъ великихъ людей: но при этомъ да соблюдаютъ себя отъ грѣха, да не даютъ человѣку значенія вышечеловѣческаго. Человѣкъ, какъ бы онъ ни былъ великъ, не сотворитъ ничего изъ ничего; человѣкъ, какъ бы ни были громадны его силы, не совершитъ великаго поприща, если путь его не будетъ уготованъ исторіей. Изъ самой отдаленной мѣстности Россіи, изъ самаго низшаго слоя народонаселенія, явился знаменитый дѣятель науки; трудно было его поприще, постоянная борьба была его удѣломъ; съ изумленіемъ и гордостію, какъ русскіе люди, вспоминаемъ мы о подвигахъ богатаго нравственными силами русскаго человѣка; но не забудемъ, что путь былъ уготованъ, что Россія ждала человѣка: для холмогорскаго крестьянина была открыта школа, холмогорскому крестьянину была возможность ѣхать учиться за границу и стать академикомъ. Что сдѣлала новая, преобразованная Россія для крестьянства? спрашиваютъ наши грозные литературные судіи великихъ людей и великихъ дѣлъ: она сдѣлала то, что крестьянинъ могъ стать академикомъ, отвѣчаетъ исторія.

Жизнь каждаго человѣка и цѣлыхъ народовъ слагается изъ будней и праздниковъ. Какъ печальна и безплодна была бы жизнь, если бы состояла изъ однихъ будней, если бы для человѣка и для цѣлыхъ народовъ не было возможности отдохнуть отъ однообразной, будничной работы, подняться въ другія, высшія сферы, освѣжиться въ нихъ, возстановить свои нравственныя силы! Появленіе великихъ людей, ихъ подвиги составляютъ праздники для народовъ: тутъ народы поднимаются, вдохновляются, надолго запасаются средствами для исторической жизни, въ дѣятельности великихъ людей

сознаютъ собственную силу и величіе, ликуютъ, празднуютъ при этомъ усиленномъ біеніи своей жизни. Какъ простолюдинъ считаетъ свое время, свой годъ праздниками, такъ и народы считаютъ свое время праздниками же, т.-е., появленіями великихъ людей, составляющихъ эпохи своею дѣятельностію. Чѣмъ больше такихъ праздниковъ, тѣмъ сильнѣе и краше народная жизнь. Воспоминаніе о нихъ составляетъ также праздникъ для народовъ, имѣетъ также вдохновительное свойство. Сами великіе люди, разумѣется, способнѣе другихъ воспринимать это вдохновеніе. Такъ и тотъ, въ чью намять мы собрались теперь, постоянно вдохновлялся воспоминаніемъ о другомъ близкомъ къ нему великомъ человѣкѣ; вслѣдствіе чего воспоминаніе о Ломоносовѣ неразрывно для насъ съ воспоминаніемъ о Петрѣ. Великіе люди держатся другъ за друга, и этимъ держатъ родную землю: крѣпкое державство!

Да не потеряетъ и для насъ Ломоносовское торжество своей вдохновительной силы. Воспоминаніе о великомъ трудолюбцѣ Русской земли да будетъ всегда присуще нашимъ трудамъ. Есть необдуманныя фразы, которыя, однако, повторяются; воспоминаніе о Ломоносовѣ должно уничтожить ихъ: кто, вспоминая о немъ, рѣшится произнести: „нѣмецкое трудолюбіе, русская лѣнь“? Празднованіе великихъ народныхъ праздниковъ, воспоминаніе о великихъ людяхъ родной земли должны отучить насъ отъ многихъ дурныхъ привычекъ. Народъ, который не умѣетъ чтить великихъ людей своего прошедшаго, недостоинъ имѣть ихъ въ будущемъ. Празднуя память Ломоносова, вспоминая съ благодарностію и о всѣхъ его современникахъ, которые вынесли столько невзгодъ и смутъ, потрудились за Русскую землю и не отчаялись въ ея спасеніи, мы заявляемъ, что не хотимъ мельчать, не хотимъ, чтобы наша жизнь состояла изъ однихъ будничныхъ дней. Никто и ничто не отниметъ у насъ славнаго, праздничнаго будущаго, если мы сами не отнимемъ его у себя, если, прежде всего, не позабудемъ своего славнаго праздничнаго прошедшаго. *Соловьевъ.*

Родина Ломоносова.

Рѣка Двина въ предѣлахъ Архангельской губерніи чѣмъ ближе къ морю, тѣмъ шире разливаетъ свои воды и образуетъ множество протоковъ, рукавовъ и острововъ. Въ этихъ мѣстахъ съ древнихъ временъ пролегалъ большой торговый путь, и потому неудивительно, что здѣсь берега Двины имѣли съ давнихъ поръ поселенія не только туземцевъ, первоначальныхъ обитателей Двинской земли, но и пришельцевъ изъ Новгорода. Такимъ образомъ, около нынѣшнихъ Холмогоръ есть нѣсколько селеній, названія которыхъ упоминаются въ древнѣйшихъ письменныхъ памятникахъ. Противъ сейчасъ названнаго города, лежитъ на Двинѣ островъ, называющійся Куростровомъ и встрѣчающійся съ этимъ именемъ въ судной грамотѣ 1397 года. Надобно полагать, что поселенцевъ привлекали сюда выгоды торговли и промысловъ, потому что островъ самъ по себѣ не представляетъ ничего особенно привлекательнаго, такъ какъ, по своему низменному положенію, едва не понимается въ полую воду разливомъ Двины, покрытъ болотистыми кочками и небольшими холмами, а по прибережью его растетъ невысокій ивнякъ.

Если въѣхать въ рукавъ Двины, огибающій Куростровъ съ югозападной стороны, и проплыть имъ верстъ семь, то можно увидать длинный рядъ деревенскихъ домовъ и домишекъ, тянущихся по всему низменному, песчаному дну Куростровa. Эти дома составляютъ нѣсколько деревень, изъ которыхъ одна по письменному называется Денисовкою, а въ просторѣчьи — Болотомъ. Отсюда въ одну сторону изъ-за ивняка виднѣются Холмогоры съ своими старинными церквами, въ другую, противоположную — село Вавчуги, памятное посѣщеніемъ Петра Великаго, когда тамъ была верфь для постройки судовъ. Въ началѣ XVIII столѣтія въ Денисовкѣ жилъ черносошный крестьянинъ Василій Дорофеевъ (или Ѳедоровъ — въ ревизскихъ сказкахъ его отчество писано разно) Ломоносовъ. У него была земля, которой владѣлъ на правахъ собственности, и, сверхъ того, онъ „промыслъ имѣлъ на морѣ по Мурманскому берегу и въ другихъ приморскихъ мѣстахъ для лову рыбы трески и палтосины на своихъ судахъ, изъ коихъ въ одно время имѣлъ немалой величины

гуккоръ съ корабельною оснасткою. (Онъ) всегда имѣлъ въ томъ рыбномъ промыслѣ счастіе, а собою былъ простосовѣстенъ и къ сиротамъ податливъ, а съ сосѣдями обходителенъ, только грамотѣ не ученъ"...

По другому извѣстію объ этомъ крестьянинѣ, онъ былъ „промысломъ рыбакъ... и первый изъ жителей сего края состроилъ и по-европейски оснастилъ на рѣкѣ Двинѣ подъ своимъ селеніемъ галіотъ и прозвалъ его Чайкою; ходилъ на немъ по сей рѣкѣ, Бѣлому морю и по Сѣверному океану для рыбныхъ промысловъ, и изъ найму возилъ разные запасы казенные и частныхъ людей города Архангельскаго въ Пустозерскъ, Соловецкій монастырь, Колу, Кильдинъ, по берегамъ Лапландіи, Семояди и на рѣку Мезень"...

Василій Ломоносовъ въ первый разъ былъ женатъ на дочери дьякона изъ очень стариннаго въ томъ краѣ селенія Матигоръ, Еленѣ Ивановой. Отъ этого-то брака родился сынъ Михаилъ, которому потомъ было суждено прославится въ Россіи литературными сочиненіями и учеными трудами. Годъ рожденія Ломоносова показывается различно: иногда 1709, или 1710, или 1711, а по ревизской сказкѣ 1722 года выходитъ, что это случилось въ 1715 году. Изъ собственноручнаго показанія Ломоносова, писаннаго несомнѣнно въ первые мѣсяцы 1754 года, открывается, что онъ самъ считалъ себѣ тогда сорокъ два года, стало быть онъ родился въ 1712 году.

По разсказу, сохранившемуся на родинѣ Ломоносова, оказывается, что онъ съ своимъ отцомъ, „не учась еще россійской грамотѣ, ходилъ неоднократно на море, и какъ подросъ близъ двадцати лѣтъ, то въ одно время отецъ его сговорилъ было въ Колѣ у неподлаго человѣка за него дочерь, однако онъ тутъ жениться не похотѣлъ, притворилъ себѣ болѣзнь, и потому совершено не было. А какъ пришелъ съ моря уже взрослой, вознамѣрился учиться россійской грамотѣ, и обучалъ его оной той же Куростровской волости крестьянинъ Иванъ Шубной, отецъ Ѳедоту Ивановичу Шубину, который нынѣ (въ 1788 году) при Академіи художествъ, и обучился въ короткое время совершенно; охочъ былъ читать въ церкви псалмы и каноны, и по здѣшнему обычаю житія святыхъ, напечатанныя въ прологахъ, и въ томъ былъ проворенъ, а при томъ имѣлъ у себя природную глубокую память: когда какое житіе или слово прочитаетъ,

послѣ пѣнія разсказывалъ сѣдящимъ въ трапезѣ старичкамъ, сокращеннѣе въ словахъ обстоятельно. Домъ ихъ состоялъ въ той Куростровской волости отъ церкви въ западную сторону въ полуторастахъ саженяхъ. А какъ мать его умерла, то отецъ его женился на другой женѣ, которая была быть можетъ причиною, побудившею оставить домъ отца своего и искать себѣ счастія въ другихъ мѣстахъ"... Существованіе у Ломоносова злой мачехи подтверждается собственнымъ его свидѣтельствомъ въ письмѣ къ И. Шувалову (31 мая 1753 года): „...имѣючи отца хотя по натурѣ добраго человѣка, однако въ крайнемъ невѣжествѣ воспитаннаго, и злую завистливую мачеху, которая всячески старалась произвести гнѣвъ въ отцѣ моемъ, представляя, что я всегда сижу попустому за книгами. Для того многократно я принужденъ былъ читать и учиться чему возможно было въ уединенныхъ и пустыхъ мѣстахъ, и терпѣть стужу и холодъ"....

Въ другомъ разсказѣ о юности Ломоносова, очевидно писанномъ со словъ его, дополняются сейчасъ сообщенныя свѣдѣнія: отецъ Ломоносова „началъ брать его отъ десяти до шестнадцатилѣтняго возраста съ собою, каждое лѣто и каждую осень, на рыбныя ловли въ Бѣлое и Сѣверное море. Ѣздилъ съ нимъ даже до Колы, а иногда и въ Сѣверный океанъ до 70 градусовъ широты мѣста. Самъ онъ разсказывалъ обстоятельства сихъ странъ, о ловлѣ китовъ и о другихъ промыслахъ. Возвращаясь съ рыбныхъ промысловъ, провождалъ зиму дома. Въ селеніи своемъ научился у одного тамошняго священнослужителя читать и писать по-русски; читалъ обыкновенно одни церковныя книги... Простой ариѳметикѣ онъ выучился самъ собою"... Въ выноскахъ при этомъ помѣщены не менѣе любопытныя подробности о Ломоносовѣ юноши: „черезъ два года учинился, къ удивленію всѣхъ, лучшимъ чтецомъ въ приходской своей церкви. Охота его до чтенія на клиросѣ и за амвономъ была такъ велика, что не рѣдко биванъ былъ не отъ сверстниковъ по лѣтамъ, но отъ сверстниковъ по ученію за то, что стыдилъ ихъ превосходствомъ своимъ предъ ними произносить читаемое къ мѣсту разстановочно, внятно, а притомъ со особою пріятностью и ломкостію голоса. Въ домѣ Христофора Дудина увидѣлъ онъ въ первый въ жизни своей разъ недуховныя книги. То были старинная славянская грамматика и ариѳ-

метика, напечатанная въ Петербургѣ, въ царствованіе Петра Великаго для навигатскихъ учениковъ. Неотступныя и усильныя просьбы, чтобъ старикъ Дудинъ ссудилъ его ими на нѣсколько дней, оставалися всегда тщетными. Отрокъ, пылающій ревностію къ ученію, долгое время умышленно угождая тремъ стариковымъ сыновьямъ, довелъ ихъ до того, что выдали они ему сіи книги. Отъ сего самаго времени не разставался онъ съ ними никогда, носилъ вездѣ съ собою и, непрестанно читая, вытвердилъ наизусть. Самъ онъ потомъ называлъ ихъ вратами своей учености. На тринадцатомъ году, младый его разумъ уловленъ былъ раскольниками такъ называемаго толка безпоповщины, держался онаго два года, но скоро позналъ, что заблуждаетъ".

Нельзя не сознаться, что въ судьбѣ Ломоносова ребенка и юноши было много поэтическаго, и что событія, случившіяся съ нимъ тогда, являются намъ теперь какъ будто преднамѣренно чрезвычайными и неожиданными, чтобы потомъ черезъ нихъ подготовить Россіи перваго ученаго и писателя именно для того времени, когда ей суждено было итти по пути, указанному могучею волею царя-преобразователя. Рожденіе въ бѣдной деревушкѣ, въ суровой мѣстности, тяжелый трудъ во время переѣздовъ съ отцомъ, посѣщеніе далекихъ поморскихъ солеваренъ; созерцаніе величественной и грозной природы на Сѣверномъ океанѣ и Бѣломъ морѣ; наконецъ, это пребываніе въ расколѣ, и притомъ въ такомъ толкѣ, который отличался, болѣе чѣмъ другіе, своими крайностями и увлеченіемъ, въ толкѣ, послѣдователи котораго лучше предпочитали умирать сотнями въ срубахъ, заботливо устроенныхъ ихъ собственными руками, чѣмъ отступить отъ своихъ вѣрованій — все это видѣлъ, испыталъ Ломоносовъ, и все это онъ кинулъ, какъ неудовлетворявшее его стремленій, въ которыхъ онъ, вѣроятно, не могъ себѣ отдать отчета, живя въ Денисовкѣ.

Даже самыя книги, которыя онъ называлъ „вратами своей учености", даже эти книги какъ будто не случайно попались въ руки Ломоносова: и грамматика Смотрицкаго, и ариѳметика Магницкаго были самыми крупными и едва не единственными представителями книжной мудрости въ допетровской Руси. Онѣ обѣ суть наслѣдіе польской схоластики, которая стала было пользоваться у насъ правомъ

господства чрезъ представителей кіевской учености, находившихъ себѣ пріютъ въ гостепріимной Москвѣ. Извѣстно, какое потомъ оказало вліяніе произведеніе Смотрицкаго на грамматику Ломоносова. Что же касается до ариѳметики Магницкаго, то замѣтить слѣдуетъ, что нѣкоторые, увлеклись тамъ стихами

Зане разумъ весь собралъ и чинъ
Природный русскій, а не нѣмчинъ,

считали Магницкаго творцомъ этого произведенія; на самомъ же дѣлѣ онъ былъ только собирателемъ, начинившимъ свою компиляцію силлабическими виршами дѣйствительно своей работы. Старинныя рукописи, изъ которыхъ составилъ Магницкій свою компиляцію, донынѣ уцѣлѣли и несомнѣнно перешли къ намъ изъ Польши, въ которой были, кажется, и печатныя произведенія этого рода. *Пекарскій.*

Первыя впечатлѣнія дѣтства въ родномъ краю и Славяно-Греко-Латинской академіи.

Далекая родина Ломоносова — Архангельской губерніи, недалеко отъ Холмогоръ, на островѣ Сѣверной Двины, деревня Болото, или Денисовка, съ своею бѣдною природою, заключала однакожъ въ себѣ условія для того, чтобъ подѣйствовать на перваго представителя духовныхъ стремленій новой Россіи. Ломоносовъ былъ потомкомъ старинныхъ новгородскихъ колонистовъ, заселившихъ этотъ пустынный край. Семья, гдѣ онъ выросъ, занималась рыбными промыслами по Бѣлому морю и Сѣверному океану. Отецъ Ломоносова былъ человѣкъ достаточный, вслѣдствіе своей предпріимчивости; въ трудныхъ плаваніяхъ онъ встрѣчался часто съ разными опасностями, и разсказы его и бывалыхъ людей объ ужасахъ Ледовитаго океана, о страшныхъ зимахъ, проведенныхъ на островахъ Колгуевѣ, Новой Землѣ, Шпицбергенѣ, были первыми впечатлѣніями, поразившими дѣтское воображеніе Ломоносова. Мальчикомъ онъ участвовалъ въ промыслахъ отца, который бралъ его съ собою. Они ходили далеко въ Бѣлое море и даже въ Сѣверный океанъ. Первыя

впечатлѣнія свои о видѣнномъ, о печальной и вмѣстѣ величавой природѣ этихъ отдаленныхъ мѣстностей, онъ сохранилъ потомъ въ зрѣломъ возрастѣ, чтобъ повѣрить ихъ наукою. Безжизненныя пространства, песчаные бугры и каменныя луды, покрытыя раковинами, часто вспоминались ему въ Германіи, гдѣ онъ учился естественнымъ наукамъ. Величественное явленіе полярныхъ странъ, сѣверное сіяніе, дающее какую-то особую жизнь безконечной ночи подъ широтою полюса, возбудившее потомъ его научныя объясненія, осталось навсегда законченнымъ образомъ въ его поэзіи. Такія явленія родной сѣверной природы и невольно подымавшіеся въ душѣ вопросы, вызываемые ими, требовавшіе объясненія, наполняя его душу мыслію о величіи Творца природы, рано возбуждали его любопытство, развивали его сознаніе, ставили его, какъ даровитаго мальчика, высоко надъ сверстниками.

Первыя впечатлѣнія Ломоносова на его далекой родинѣ имѣли глубокое нравственное вліяніе на него. Природа сѣвера, съ своими величавыми явленіями, далекія и трудныя плаванія близкихъ ему людей и его самого — должны были рано образовать душу Ломоносова и дать ему ту силу воли, которая спасла его въ жизни и выдвинула его впередъ. Въ родной семьѣ встрѣтилъ онъ однако отрицательныя условія для развитія. Она не давала ему ничего отъ себя. Подобно множеству русскихъ людей, Ломоносовъ росъ посреди домашней борьбы, придающей иногда силу молодой душѣ, приготовляющей ее для жизни. Его мать, дьяконская дочь изъ сосѣдней волости умерла. Онъ не помнитъ ея. Когда началось ученье Ломоносова грамотѣ, — положительно сказать нельзя, но началось оно не рано, тогда уже, когда Ломоносовъ познакомился съ моремъ, и началось обыкновеннымъ для русскихъ, вѣковымъ путемъ — чтеніемъ и изученіемъ богослужебныхъ книгъ. Первымъ учителемъ Ломоносова былъ грамотный крестьянинъ ихъ же волости, Иванъ Шубной, принимавшій значительное участіе въ судьбѣ Ломоносова и чуть ли не внушившій ему мысли — бѣжать въ Москву. Черезъ два года ученья, Ломоносовъ былъ уже отличнымъ чтецомъ въ церкви. Первыя мысли и свѣдѣнія, первые поэтическіе образы достались ему на языкѣ церкви и были усвоены имъ въ первоначальной формѣ своей. Формы церковно-славянскаго языка,

чуждыя всего обыденно-житейскаго, отрѣшенныя отъ жизни и потому какъ бы навѣки окрѣпшія съ своимъ всеобщимъ содержаніемъ, держали складъ ума его постоянно въ возвышенной сферѣ. Христіанская поэзія каноновъ и церковныхъ гимновъ, пѣсни Давида и слова пророковъ — заучивались Ломоносовымъ и образовали въ душѣ его выраженіе того положительнаго и твердаго религіознаго чувства, которое составляетъ какъ бы существенное свойство русской натуры, чувства, чуждаго и мечтательности и вялаго піэтизма. Вѣра Ломоносова, часто спасавшая его въ жизни, выросла подъ впечатлѣніями дѣтства. Это была крѣпкая вѣра моряка, у котораго, посреди грозящихъ отовсюду опасностей, ничего не остается, кромѣ этой вѣры. Горячая молитва и вслѣдъ за нею увѣренность въ близкую помощь Божію, — эти народный свойства вѣры, составляли и религіозное чувство Ломоносова. „Я полагаюсь на помощь Всевышняго, — говоритъ онъ, — который былъ мнѣ въ жизни защитникомъ и никогда не оставилъ, когда я пролилъ предъ Нимъ слезы въ своей справедливости“. Сѣверъ Руси, обширныя пространства, составляющія теперешнія губерніи Олонецкую и Архангельскую, тундры по теченію Сѣверной Двины, Печоры и Мезени, съ конца XVII вѣка были полны религіознымъ движеніемъ раскола, занесеннаго сюда московскими выходцами. Оно было въ полной силѣ во время дѣтства Ломоносова. Расколъ развивался тѣмъ могущественнѣе, чѣмъ жесточе были преслѣдованія, чѣмъ суровѣе развертывалась кругомъ печальная обстановка трудной жизни и бѣдной природы. Душа уходила отъ внѣшняго міра и въ глубинѣ своей искала вознагражденія за лишенія, которыя давались жизнію. Молодой Ломоносовъ, по собственному признанію, былъ окруженъ этою религіозною жизнію, близкіе люди увлекали его въ расколъ. Но фактъ этотъ остался безъ вліянія на него. Его вѣра была чужда всякаго фанатизма. Его благочестіе имѣло реальный характеръ.

Зато *историческая дѣйствительность* русской жизни, новая жизнь, въ которую вступала страна съ реформою Петра, очень рано и могущественно поразила Ломоносова. Царь, добиваясь моря и пути въ Европу, нѣсколько разъ посѣщалъ далекую родину Ломоносова въ послѣднихъ годахъ XVII вѣка, окруженный всею военною помпою, кораблями, войскомъ пуш-

ками. Онъ строилъ верфи, закладывалъ корабли, ласкалъ моряковъ-промышленниковъ. Ломоносовъ не могъ видѣть самого Перта, но онъ видѣлъ свѣжіе слѣды его пребыванія въ Архангельскѣ, на Двинѣ, на Соловецкомъ островѣ; онъ видѣлъ собственноручно сдѣланные царемъ громадные кресты изъ лиственницы, поставленные имъ, по обычаю прибрежныхъ жителей Бѣлаго моря, на утесахъ и въ глухихъ тундрахъ, гдѣ проходилъ царь; онъ слышалъ кругомъ себя одушевленныя воспоминанія о царѣ, и величавый, строгій образъ Петра остался въ его умѣ навсегда, подобно образу миѳическаго Геркулеса въ борьбѣ съ первобытными силами природы. Въ этомъ отношеніи Ломоносовъ раздѣлялъ убѣжденія всѣхъ сколько-нибудь образованныхъ современниковъ своихъ въ царствованіе Елизаветы. Не видавъ никогда царя, онъ сердечно жалѣлъ о томъ. „Блаженны тѣ очи, — говоритъ онъ, — которыя божественнаго сего мужа на землѣ видѣли! Блаженны и треблаженны тѣ, которые потъ и кровь свою съ нимъ и за него проливали, и которыхъ онъ за вѣрную службу въ главу и въ очи цѣловалъ помазанными своими устами!“ Петръ, по убѣжденію Ломоносова, уничтожалъ въ Россіи „ночь варварства“; онъ поставилъ ее „на пути яснаго познанія“. Петръ неотразимо властвовалъ надъ душою Ломоносова. Онъ слился для него въ одно съ народомъ, и вездѣ онъ видѣлъ царя. „Я въ полѣ межъ огнемъ, говоритъ онъ, — я въ судныхъ засѣданіяхъ межъ трудными разсужденіями; я въ разныхъ художествахъ между многоразличными махинами; я при строеніи городовъ, пристаней, каналовъ, между безчисленнымъ народа множествомъ; я межъ стенаніемъ валовъ Бѣлаго, Чернаго, Балтійскаго, Каспійскаго моря и самаго океана духомъ обращаюсь: *вездѣ Петра Великаго вижу* въ потѣ, въ пыли, въ дыму, въ пламени, и не могу самъ себя увѣрить, что *одинъ вездѣ Петръ*, но многіе; и не краткая жизнь, но лѣтъ тысяча“. Нѣтъ ни одной рѣчи Ломоносова, въ которой бы съ восторгомъ не упоминалось о Петрѣ и о томъ, что онъ сдѣлалъ для Россіи. Вся исторія Россіи возводится къ нему, и всею душою Ломоносовъ сдѣлался сыномъ реформы, проводя въ жизнь ея идеи. Онъ никога не видѣлъ черныхъ сторонъ преобразованія.

Нельзя назвать бѣдною впечатлѣніями молодую жизнь на родинѣ Ломоносова. Море, сѣверная природа, вѣра, доста-

точная жизнь въ средѣ народа и исполинскій образъ царя, въ которомъ олицетворялась для Ломоносова вся Россія, были могущественными стихіями его духовнаго развитія. Немногимъ на долю изъ его современниковъ выпало столько благопріятныхъ условій. Они спасли его посреди искусственной, мишурной жизни Петербурга, дали ему средства сохранить здѣсь цѣльность и оригинальность своей натуры. Сюда надобно присоединить и первое чтеніе, первыя книги, по которымъ образовался Ломоносовъ, послѣ знакомства съ церковною службою и канонами. Образованіе заходило и на пустынную родину Ломоносова. Въ домѣ односельца своего, Христофора Дудина, онъ узналъ о существованіи книгъ нецерковныхъ и, послѣ долгихъ усилій, добылъ ихъ себѣ. Изъ трехъ знаменитыхъ тогда книгъ, изучаемыхъ Ломоносовымъ „въ уѣдиненныхъ и пустыхъ мѣстахъ“ — грамматики Смотрицкаго, псалтыри, переложенной въ силлабическіе стихи С. Полоцкимъ и ариѳметики Магницкаго, двумъ послѣднимъ особенно, многимъ былъ обязанъ Ломоносовъ. Первая учила его духовной поэзіи; вторая, энциклопедія своего рода, давала ему множество разнообразныхъ свѣдѣній, интересовавшихъ его: по естественнымъ наукамъ, физикѣ, математикѣ. Не этимъ книгамъ, конечно, а внутренней силѣ души и воли, внутреннему голосу, жаждѣ знанія и образованія, томившей его, обязанъ былъ Ломоносовъ рѣшеніемъ, которое увлекало его изъ родины въ Москву и сдѣлало знаменитымъ человѣкомъ Русской земли. Какъ человѣкъ, сильный волею, уже окрѣпшею въ нерадостной жизни, онъ въ этомъ рѣшеніи, конечно, обязанъ былъ болѣе всего самому себѣ. Самъ онъ говоритъ только о своемъ твердомъ упованіи на Бога. О постороннемъ вліяніи, о чужихъ совѣтахъ въ столь важномъ рѣшеніи, измѣнившемъ участь Ломоносова, мы не имѣемъ никакихъ свѣдѣній, и тѣмъ лучше: личность Ломоносова отъ того болѣе выигрываетъ и становится выше.

Жизнь Ломоносова не романъ съ придуманными препятствіями, а правда и, слава Богу, нерѣдкая въ странѣ нашей дѣйствительность. Многимъ приводится такъ же пробиваться сквозь толстую кору невѣжества, семейнаго гнета, бѣдности и поруганій, но, конечно, слишкомъ немногимъ выпадаетъ значеніе Ломоносова. Онъ былъ уже зрѣлымъ юношей, лѣтъ 18 или 19, когда ушелъ въ Москву. Отецъ

позаботился уже приискать ему въ Колѣ невѣсту, разсчитывая на помощь взрослаго и здороваго сына въ рыболовномъ промыслѣ. Ломоносовъ бѣжалъ тайно изъ отцовскаго дома. Прежній учитель, Шубной или Шубинъ, далъ ему на дорогу китайчатое полукафтанье да три рубля денегъ. По дорогѣ онъ прожилъ нѣсколько времени въ Сійскомъ монастырѣ, гдѣ читалъ и пѣлъ на клиросѣ. Можетъ-быть, бывалые монахи этого монастыря помогли Ломоносову совѣтомъ и матеріальными средствами. Отсюда пѣшкомъ, съ обозомъ рыбы, Ломоносовъ добрался до Москвы. Первую ночь въ незнакомомъ городѣ онъ провелъ въ рыбномъ ряду, въ саняхъ, и первое московское впечатлѣніе былъ звонъ колоколенъ, главы и кресты церквей, на которые онъ усердно молился, чувствуя свое одиночество въ шумѣ новой жизни. Онъ молился, какъ самъ говоритъ, „чтобы Богъ его призрѣлъ и помиловалъ“. Случайно встрѣченный имъ землякъ, по фамиліи Пятухинъ, бывшій чьимъ-то приказчикомъ, пріютилъ его къ себѣ и далъ ему уголъ между слугами того дома, гдѣ самъ служилъ. Онъ помогалъ ему и деньгами, и онъ же доставилъ ему потомъ знакомство между монахами Заиконоспасскаго монастыря. Сначала Ломоносовъ добился позволенія учиться на Сухаревой башнѣ, въ первой навигаціонной школѣ, заведенной Петромъ. Школа эта, съ своимъ первоначальнымъ ученіемъ, не могла удовлетворить уже взрослаго Ломоносова. Въ Москвѣ было тогда одно высшее училище: Славяно-греко-латинская или Заиконоспасская академія, но бѣглому крестьянскому сыну трудно было попасть въ него. Чтобъ поступить въ это училище, Ломоносовъ, по однимъ извѣстіямъ, выдалъ себя за дворянскаго, по другимъ за поповскаго сына. Сохранилось преданіе, что знаменитый сподвижникъ Петра Великаго, Ѳеофанъ Прокоповичъ помогъ ему, когда онъ боялся послѣдствій своего самозванства. „Не бойся ничего, — говорилъ онъ Ломоносову, — хотя бы со звономъ въ большой колоколъ стали тебя публиковать самозванцемъ: я — твой защитникъ“.

Московская академія, гдѣ Ломоносову пришлось знакомиться съ началами науки, сдѣлала, много для его духовнаго развитія. Знакомство съ наукою происходило однако въ той неизбѣжной схоластической формѣ, которая составляла сущность тогдашняго ученія. Схоластическая рутина эта, о ко-

торой привыкли говорить съ презрѣніемъ, имѣла свои хорошія стороны. Она давала образованіе, основанное на языкахъ классическихъ, — то, которое извѣстно Европѣ, и такимъ образомъ невольно вводила ученика въ кругъ обще-человѣческихъ представленій. Въ академическомъ ученіи были историческія преданія и извѣстныя формы, въ которыя укладывался умъ. Человѣкъ получалъ здѣсь опредѣленный характеръ, котораго не дастъ образованіе, не имѣющее твердыхъ началъ. Для пылкаго, неустановившагося, неразвитого ума Ломоносова необходима была такая строгая школа. Въ академіи онъ познакомился съ языкомъ латинскимъ, тогда общимъ языкомъ европейской науки, познакомился съ латинской литературой, имѣвшей потомъ вліяніе на складъ поэтическихъ и прозаическихъ его произведеній и самъ выучился писать латинскіе стихи. Въ академіи онъ читалъ русскія лѣтописи, подробно узналъ св. Писаніе, отцовъ Церкви, и въ особенности современныя теоріи реторическія, въ рамки которыхъ должна была уложиться его поэзія.

Тяжелы были для Ломоносова эти первые годы знакомства — съ наукой. „Обучаясь въ Спасскихъ школахъ, пишетъ онъ къ И. И. Шувалову, — имѣлъ я со всѣхъ сторонъ отвращающія отъ наукъ пресильныя стремленія, которыя въ тогдашнія лѣта почти непреодолѣнную силу имѣли. Съ одной стороны, отецъ, никогда кромѣ меня дѣтей не имѣя, говорилъ, что я, будучи одинъ, его оставилъ, оставилъ все довольство (по тамошнему состоянію), которое онъ для меня кровавымъ потомъ нажилъ, и которое послѣ его смерти чужіе расхитятъ. Съ другой стороны, *несказанная бѣдность:* имѣя одинъ алтынъ въ день жалованья, нельзя было имѣть пропитанія въ день больше какъ за денежку хлѣба и на денежку квасу, прочее на бумагу, на обувь и другія нужды. Такимъ образомъ жилъ я пять лѣтъ и наукъ не оставилъ. Съ одной стороны пишутъ, что, зная отца моего достатки, хорошіе тамошніе люди дочерей своихъ за меня выдадутъ, которые и въ мою тамъ бытность предлагали; съ другой стороны школьники, малые ребята, кричатъ и перстами указываютъ: смотрите, какой болванъ лѣтъ въ двадцать пришелъ латыни учиться!“ Эта горькая нужда и тяжелая дѣйствительность образовали характеръ Ломоносова, дали ему гордость, стоическое терпѣніе и силу „бороться съ гонителями наукъ“, дали ему „благо-

родную упрямку и смѣлость къ преодолѣнію всѣхъ препятствій къ распространенію наукъ въ отечествѣ, что мнѣ всего въ жизни моей дороже". Онъ могъ выдержать „борьбу до гроба", не измѣнивъ себѣ и своимъ началамъ. Жизнь Ломоносова вырастаетъ передъ нами, какъ подвигъ, какъ борьба.

Лавровскій.

Ломоносовъ и Славяно-греко-латинская академія.

1731-й годъ, годъ поступленія Ломоносова въ Московскую Славяно-греко-латинскую академію, былъ сорокъ пятымъ годомъ со времени ея открытія и тридцатымъ отъ перваго ея преобразованія. Первыя пятнадцать лѣтъ (1684—1700) составляютъ отдѣльный періодъ въ жизни только что народившагося учебнаго учрежденія, характеризующійся преобладаніемъ греческаго образованія и неполнотою круга наукъ, тогда преподававшихся. По грамотѣ царя Ѳеодора Алексѣевича 1682 г. въ академію вводился обширный курсъ ученія, — именно, въ ней предназначалось преподавать: грамматику, піитику, риторику, діалектику, философію и богословіе, — кромѣ того, право церковное и гражданское и прочія свободныя науки. Но эта обширная программа на первыхъ порахъ не могла быть выполнена: наставниковъ было всего двое. Братья Лихуды въ продолженіе осьми лѣтъ (1685—1693) преподавали ученикамъ своимъ, которыхъ (кстати замѣтить) было еще меньше ста человѣкъ, грамматику, піитику на греческомъ языкѣ, риторику, логику и малую часть физики на греческомъ и латинскомъ языкѣ. Слѣдующіе за ними опять два наставника, ученики Лихудовъ Николай Семеновъ и Ѳедоръ Поликарповъ въ теченіе пяти съ половиною лѣтъ (1694—1699) преподавали на одномъ греческомъ языкѣ грамматику, піитику и риторику; философіи же и богословія не преподавали, потому что и сами не успѣли слышать этихъ наукъ отъ Лихудовъ. Латинскій языкъ по настоятельному требованію патріарха іерусалимскаго, изгнанъ былъ изъ академіи. Это — первый періодъ въ исторіи академіи, когда она называлась въ оффиціальныхъ бумагахъ „греческими школами, еллино-славенскими

сколами". Въ 1701 г. послѣдовало коренное преобразованіе. Императоръ Петръ I указомъ отъ 7 іюля 1701 г. повелѣлъ мѣстоблюстителю патріаршаго престола и первому „протектору" Московской академіи Стефану Яворскому „завесть въ академіи ученія латинскія", что, впрочемъ, было сдѣлано нѣсколько раньше, само собою, такъ какъ завѣдывавшій академіей съ 1700 г. докторъ философскихъ и богословскихъ наукъ Палладій Роговскій († 23 янв. 1703 г.) не зналъ языка греческаго и училъ только на латинскомъ языкѣ, Стефанъ Яворскій, питомецъ Кіевской академіи, въ силу указа царскаго вызвалъ въ 1701. г. изъ Кіева наставниковъ, которые ввели въ Московскую академію уже полный кругъ наукъ, какія читаны были тогда въ Кіевѣ, ввели въ нее и ту же методу преподаванія и всѣ тѣ же порядки, какъ училищные, такъ и домашніе, словомъ, дали ей и духъ и внѣшній видъ академіи Кіевской: Московская академія явилась какъ бы колоніей Кіевской и точной копіей своей метрополіи. Съ этого времени Московская славяно-греко-латинская академія болѣе тридцати лѣтъ находилась подъ исключительнымъ, и вплоть до времени митр. Платона подъ преобладающимъ вліяніемъ кіевскихъ воспитанниковъ. (Припомнимъ, что съ 1705 г. въ историческомъ развитіи Кіевской академіи начался новый періодъ — оживленія и процвѣтанія кіевской науки и литературы, произведеннаго Ѳеофаномъ Прокоповичемъ и поддерживавшагося почти до второй половины XVIII в.) Это — второй періодъ въ исторіи академіи (1700—1775), когда она въ оффиціальныхъ бумагахъ именовалась, большею частію, „латинскими, славяно-латинскими школами". Въ бытность здѣсь Ломоносова, всѣ ректора, префекты и наставники были изъ Кіевской академіи. Ломоносовъ принятъ въ академію при ректорѣ Германѣ Концевичѣ, за которымъ слѣдовали ректора Софроній Мигалевичъ и Стефанъ Калиновскій, выбравшій Ломоносова и еще 11 человѣкъ для опредѣленія въ Академію Наукъ. Префекты: Иннокентій Нероновичъ, Стефанъ Калиновскій и Антоній Кувичинскій; у этого послѣдняго Ломоносовъ слушалъ философію. Изъ наставниковъ Ломоносова еще извѣстны: учитель грамматики Давидъ Данелѣвичъ, учитель піитики Ѳедоръ, послѣ Ѳеофилактъ Квѣтницкій и учитель риторики Порфирій Крайскій. Всѣ они, питомцы кіевской

школы, въ преподаваніи своемъ естественно слѣдовали учебнымъ руководствамъ кіевскимъ. — Каковъ же былъ составъ наукъ и каковы порядки въ Московской академіи въ бытность въ ней Ломоносова?

Въ тогдашней Московской академіи, какъ и въ Кіевской, было восемь классовъ: фара (она же и аналогія), инфима, грамматика, синтаксима, піитика, риторика, философія и богословіе. Первые четыре класса назывались низшими, піитика и риторика — средними, а философія и богословіе — высшими. Ученики послѣднихъ двухъ классовъ получали почетное названіе студентовъ. Курсъ богословія, какъ самаго главнаго предмета, длился долго, именно четыре года; философіи и риторики по два года; піитики и синтаксимы по одному году. Время перевода изъ трехъ первыхъ низшихъ классовъ опредѣлялось успѣхами учениковъ. Ломоносовъ, напр. въ одинъ годъ прошелъ всѣ три класса, а ученики лѣнивые или малодаровитые и въ этихъ классахъ сидѣли по нѣсколько лѣтъ. Чему же и какъ тогда учили? Въ фарѣ учили читать и писать по-латыни. Въ инфимѣ преподавались первыя грамматическія правила славяно-русскаго и латинскаго языковъ. Въ грамматикѣ обращалось преимущественное вниманіе на изученіе грамматическихъ правилъ латинскаго языка до синтаксиса и оканчивалось изученіе славянской грамматики. Кромѣ того, здѣсь же учили географіи, исторіи и начинали преподаваніе ученія катехизическаго и ариѳметики. Съ этого класса ученику вмѣнялось въ непремѣнную обязанность говорить по-латыни, особенно въ школѣ. Въ синтаксимѣ читали синтаксисъ латинскій и оканчивали преподаваніе краткаго катихизиса, исторіи, географіи и ариѳметики. Особенное вниманіе въ этомъ классѣ обращалось на изученіе т. н. краснорѣчиваго синтаксиса (sintaxis figurata, ornata), по которому ученики сингаксимы должны были говорить и составлять задачи на латинскомъ языкѣ не только грамматически правильно, но и краснорѣчиво. — Много предметовъ преподавалось въ четырехъ низшихъ классахъ Московской академіи, но главнымъ изъ нихъ считался, какъ и въ Кіевской, латинскій языкъ. То былъ языкъ науки во всѣхъ тогдашнихъ европейскихъ училищахъ. Безъ этого языка нельзя было пріобрѣсти названіе образованнаго человѣка. Съ 30-хъ годовъ XVIII столѣтія

въ Кіевской академіи принята латинская грамматика Эммануэля Альвара „De institutione grammatica libri III“, и кіевскіе наставники, конечно, не замедлили ввести ее и въ Московскую академію, въ которой она, впрочемъ, и прежде обращалась, какъ видно изъ описи книгъ Симеона Полоцкаго и Сильверста Медвѣдева, поступившихъ въ 1689 г. въ распоряженіе академіи. Между другими книгами въ этой описи значится: „23 книги Алваровъ“. Это руководство въ педагогическомъ отношеніи считается теперь крайне неудовлетворительнымъ: оно растянуто, а по мѣстамъ, написанное стихами, крайне трудно для пониманія и изученія. Кіевскіе наставники и у себя въ Кіевѣ и въ Московской академіи старались упростить его, выдавая по грамматикѣ рукописныя лекціи и правила. Соотвѣтственно важности латинскаго языка, и отчета въ заданномъ урокѣ требовали гораздо строже, чѣмъ по другимъ предметамъ. Слѣдить за степенью прилежанія и успѣховъ каждаго изъ учениковъ помогали учителю авдиторы, выбиравшіеся изъ учениковъ наиболѣе прилежныхъ. Они, выслушавъ предъ приходомъ учителя подвѣдомственныхъ себѣ товарищей, отмѣчали степень ихъ знанія или незнанія въ нотатахъ или эрратахъ (notata seu errata), и представляли эти нотаты учителю въ классѣ. Учитель повѣрялъ, отмѣчалъ лѣнивыхъ и давалъ новые уроки. Въ каждую субботу происходила главная репетиція за цѣлую недѣлю, что называлось sabbativa. Тутъ же чинима была расправа съ лѣнивыми учениками. Изученіе латинскаго языка было, впрочемъ, болѣе живое, чѣмъ книжное. Я уже упоминалъ объ обязательности латинскихъ разговоровъ — домашнихъ и особенно школьныхъ для учениковъ грамматики и синтаксимы. Разговоры эти имѣли важное педагогическое значеніе. Въ нихъ съ замѣчательною послѣдовательностію излагались и преподавались на практикѣ грамматическія правила латинскаго языка. Но ими хотѣли не только научить школьниковъ латинскому языку, но и вообще развить ихъ мыслительныя способности... Какъ средство соревнованія и побужденія постоянно и правильно говорить по-латыни въ Кіевской академіи введенъ былъ такъ называемый „калькулюсъ“. Ученику, начиная съ класса грамматики, сказавшему что-нибудь не по-латыни или сказавшему какую-нибудь фразу хотя и по-латыни, но противъ

грамматики, товарищи тотчасъ вѣшали на шею „calculum“ — узенькій столпцевый бумажный свертокъ, вложенный въ небольшой футляръ. Имѣющій эту явную улику своего преступленія всѣми силами старался сбыть „calculum“ кому-либо менѣе его осторожному и опытному въ латинскомъ языкѣ, — и горе, если этотъ свертокъ остался у кого-нибудь черезъ ночь. Авдиторъ отмѣчалъ тогда: pernoctavit apud dominum № (переночевалъ у господина такого-то), и бѣдный dominus подвергался стыду и поношенію отъ своихъ товарищей, да, сверхъ того, и тѣлесному наказанію отъ учителя. Калькулюсъ, повидимому, примѣнялся и въ Московской академіи, во времена Ломоносова: „Услышали мухи медовые духи“ и т. д., сохраненные землякомъ его Кочневымъ и напечатанные въ „Путешествіяхъ академика Лепехина“ имѣютъ тамъ такое заглавіе: „Сочиненіе г. Ломоносова въ Московской академіи за учиненный имъ школьный проступокъ. Calculus dictus“. — Важнымъ средствомъ къ изученію латинскаго языка и вообще къ развитію учениковъ служили письменныя упражненія и задачи. Школьныя задачи назывались экзерциціями (exercitiae), домашнія — оккупаціями (occupationes). Учитель прочитывалъ ихъ и возвращалъ ученикамъ съ своею рецензіей и замѣчаніями.

Окончившій ученіе въ низшихъ классахъ переходилъ въ средніе: піитику и потомъ риторику. Поэзія поставлена прежде искусства краснорѣчія. Поэзія понималась тогда довольно наивно, какъ ars pangendi versus, какъ искусство сплетать вирши, для чего не требовалось большого труда и строгой послѣдовательности мыслей, особенно подъ защитою такъ называемой вольности піитической. Механическая работа стихосложенія сама собою вызывала слово за словомъ, и это тѣмъ легче, что всякій порядочный ученикъ переходилъ изъ синтаксимы въ піитику съ огромнымъ запасомъ равнозначащихъ выраженій, эпитетовъ и сближенія понятій. Отъ неизбѣжныхъ справокъ съ лексиконами при синтактическихъ переводахъ и отъ критическаго выбора того или другого болѣе годнаго выраженія у ученика синтаксимы, при его переводѣ въ піитику, накоплялось цѣлое море словъ и понятій, упорядочить которыя и предстояло піитикѣ съ ея правилами о количествѣ слоговъ, метрѣ, цезурѣ и т. д. Да и въ отношеніи пользы піитика, по мнѣнію средневѣковыхъ

ученыхъ, принятому въ нашихъ старинныхъ школахъ, значительно уступала риторикѣ, и это опять было причиною того, что въ восходящемъ порядкѣ наукъ отъ низкихъ къ высшимъ она заняла мѣсто ниже риторики и предшествовала ей. Учитель піитики предлагалъ своимъ слушателямъ „стихотворное ученіе“ латинское и русское, и изъяснялъ различные роды и виды поэзіи. Какъ поставлено было во времена Ломоносова преподаваніе этой науки, объ этомъ мы можемъ составить совершенно опредѣлительное понятіе, такъ какъ до насъ дошелъ учебникъ піитики Ѳеодора Квѣтницкаго, бывшаго учителемъ Ломоносова. Вотъ полное заглавіе этой піитики: „Clavis poetica Rossiacae juventuti januam vivos ad Parnassi fontes duplici methodo: unâ ligatae, alterâ solutae orationis aperiens Avgustissima Imperante Annâ non ferreo Vulcani malleo, sed cerebelleâ Theodori Kwietnitscii, incude Mosqvensi in Academia excusa. Annus in axe rotam Christi volvebat amandi 1732. Clara Novembris erat septima lux decima 17“. Учебникъ Квѣтницкаго составленъ по образцу латино-польскихъ піитикъ, господствовавшихъ тогда въ Кіевской академіи, а потому не излишне будетъ предпослать краткій очеркъ кіевской піитики въ первую четверть XVIII вѣка.

Піитика въ старой кіевской академіи раздѣлялась на общую и частную или прикладную. Въ общей излагались понятія объ элементахъ поэзіи, о подражаніи и о механизмѣ стиховъ, въ частной — излагались виды поэтическихъ произведеній, правила ихъ составленія и предлагались самые образцы. Въ кіевскомъ учебникѣ піитики 1719—1720 г. „Parnassus aliis Apollinis cythara“ поэзія опредѣляется какъ наука — выражать стихомъ подражаніе дѣйствіямъ человѣческимъ. Подражаніе, т.-е. изображеніе другой вещи или произведеніе образовъ — главное дѣло въ поэзіи. Это — душа поэзіи, ея внутренняя сторона. Подражаніе бываетъ двоякаго рода: подражаніе природѣ, т.-е. изображеніе или вымыселъ какого-либо правдоподобнаго предмета, и подражаніе въ трудѣ, т.-е. сходство съ образцомъ въ изображеніи, или расположеніи или выраженіи. Изъ піитическихъ руководствъ классическаго міра кіевскія піитики заимствовали понятіе о различныхъ родахъ, названіи, цезурѣ, достоинствахъ и недостаткахъ латинскаго стиха, а изъ средневѣковыхъ іезуитскихъ

піитикъ Іакова Понтана и Воссія — различные виды т. н. курьезнаго или забавнаго стиха (стихъ каббалистическій, раковидный, леонинскій, разные виды акростиха, стихи въ формѣ яйца, бокала, куба, пирамиды и т. п.). Стихъ польскій и русскій образовался по образцу латинскаго стиха, какъ классическаго, такъ и средневѣкового „курьезнаго". Русскій стихъ не сразу вошелъ въ кіевскую піитику. Древнѣйшія кіевскія піитики говорятъ только о латинскомъ и польскомъ стихѣ, хотя внѣ теоріи и было не мало опытовъ русскаго стихотворства. Піитика 1720 г. („Parnassus") говоритъ о польско-русскомъ стихѣ въ приложеніи, безъ особой главы, а піитика 1736 г. („Hortus poëticus") трактуетъ о русско-польскомъ стихосложеніи уже не въ прибавленіи, а въ самой наукѣ, и русско-польскому стиху отдаетъ предпочтеніе предъ латинскимъ. — Частная или прикладная піитика трактовала о различныхъ родахъ и формахъ поэтическихъ произведеній. Въ кіевскихъ піитикахъ конца XVII и первой четверти XVIII в. перечисляются слѣдующіе роды поэзіи: эпическая, драматическая, буколическая, сатирическая, элегическая, лирическая и эпиграмматическая. Они могутъ быть сведены къ слѣдующимъ четыремъ важнѣйшимъ: поэзія эпическая, драматическая, лирическая и эпиграмматическая. Эпическая поэзія, по опредѣленію кіевскихъ піитикъ, есть „подражаніе посредствомъ повѣствованія въ стихѣ гекзаметрѣ знаменитымъ дѣйствіямъ человѣческимъ. Частей эпопеи три: предложеніе, призываніе и повѣствованіе. Предложеніе должно быть кратко, ясно и умѣренно. Призываніе есть испрошеніе помощи божественной для счастливаго выполненія предложенія... Повѣствованіе есть изложеніе цѣлаго предмета въ извѣстномъ порядкѣ... Чтобы въ непрерывномъ повѣствованіи не родилась для слушателя скука, поэтъ долженъ помнить свою обязанность, т.-е. онъ долженъ забавлять, и обязанъ предупреждать пресыщеніе преимущественно изображеніемъ множества неожиданныхъ случаевъ и приключеній на войнѣ и въ дорогѣ, разнообразныхъ потрясеній— печали, удивленія, ужаса, также вымышленіемъ различныхъ краткихъ повѣствованій, напр., о томъ, что извѣстныя лица сдѣлали, или потерпѣли что либо-великое и единственное и т. п. Общій панегиристическій характеръ кіевской литературы проникалъ и въ эпопею. Въ піитикахъ XVII в.

поэма понималась какъ простой панегирикъ или какъ привѣтственная и поздравительная рѣчь въ стихахъ. Поэмы раздѣлялись на привѣтственныя при родинахъ, брачныя, благодарственныя, панегирическія, погребальныя. Образцами поэмы въ XVII в. служили іезуитскія сочиненія Бидермана, Папинія Стація, Андрея Канонъ, Альберта Инесъ. Если произведенія первыхъ двухъ іезуитовъ носили все-таки характеръ эпопеи, зато произведенія польскихъ іезуитовъ Андрея Канонъ и Альберта Инесъ были не больше, какъ только сборниками одъ и панегириковъ. Ѳеофанъ Прокоповичъ указалъ, какъ на образцы поэмы, на произведенія Гомера, Виргилія, Торквато Тасса, Санназара и Кохановскаго. Вообще-то эпическая поэзія не процвѣтала въ Кіевской академіи. Бо̀льшаго развитія достигла въ ней поэзія драматическая. По опредѣленію кіевской піитики 1729 г. („Via ingenuos poeseos candidatos in bicoltem parnassum...ducens"), драматическая поэзія есть такая, въ которой другіе говорятъ, тогда какъ поэтъ молчитъ. Она раздѣляется на трагедію, комедію и трагедокомедію. Частей трагедіи пять: прологъ, протазисъ, эпитазисъ, катастазисъ и катастрофа. Трагедія и комедія раздѣляются на акты и сцены. Актовъ кіевская піитика XVIII в. назначала для всѣхъ родовъ драматической поэзіи пять, ни больше ни меньше. Кіевская драма XVII и начала XVIII в. представляла изъ себя копію іезуитской, особенно же польско-іезуитской драмы. По подражанію іезуитскимъ образцамъ, она брала содержаніемъ своимъ религіозно-народные предметы и лица, неуклонно слѣдовала церковнобиблейскому разсказу о нихъ и имѣла строго церковный характеръ. Таковы мистеріи о страданіяхъ Христовыхъ, объ Алексѣѣ, человѣкѣ Божіемъ, о паденіи первыхъ людей и божественномъ искупленіи. Новое направленіе кіевской драмѣ далъ Ѳеофанъ Прокоповичъ трагедокомедіей: „Владиміръ славенороссійскихъ странъ князь и повелитель"). Содержаніе для себя кіевская драма беретъ или всецѣло изъ русской исторіи, или же въ обработкѣ церковнобиблейскаго сюжета, затрогиваетъ общественные и политическіе интересы южнаго края. Какъ на образцы въ области драматической поэзіи піитика Ѳеофана Прокоповича указываетъ на римскихъ классиковъ — въ драмѣ Сенеку, въ комедіи Теренція и Плавта). Лирическая поэзія понималась въ ста-

рой кіевской академіи какъ искусство составлять краткія стихотворенія, которыя первоначально пѣлись въ честь боговъ, героевъ и знаменитыхъ людей, а потомъ прилагаемы были ко всякой матеріи. Лирическая поэзія раздѣлялась на два главные отдѣла: первый составляли священные гимны и свѣтскія оды, второй — элегія. Образцами священныхъ гимновъ для кіевскихъ поэтовъ служили, главнымъ образомъ, гимны Мурета, составленные имъ по подражанію Горацію. По образцу гимновъ Мурета, у кіевскихъ ученыхъ являются священные гимны, въ которыхъ церковное событіе или жизнь святаго служатъ только поводомъ къ свободному выраженію чувствъ автора. Свѣтскія оды или привѣтственные стихи раздѣлялись на праздничные, родильные, именинные, брачные, похоронные, благодарственные, застольные и, какъ выше сказано, иногда относились къ поэмѣ. Главная отличительная черта этихъ стиховъ и одъ — чрезмѣрная лесть восхваляемому лицу. Восхваляемаго героя можно было сравнивать со всякимъ предметомъ, какъ бы онъ ни былъ высокъ, даже съ самимъ Богомъ. Элегія, отличающаяся печальнымъ характеромъ, была духовная и свѣтская. Образцами первой служили западныя библейско-историческія элегіи, напр. Каспара Барлея „О Христѣ страждущемъ“, Гуго Германа „Pia desideria“ Мурета „De vita instituenda“ и др. Любимымъ предметомъ кіевскихъ элегій или кантовъ было изображеніе смерти и послѣдняго суда. Свѣтская элегія развилась въ Кіевской академіи съ начала XVIII в. подъ вліяніемъ образцовъ классической элегіи. Ѳеофанъ Прокоповичъ въ лирикѣ указывалъ, какъ на образцы, на Горація, Овидія, Катулла. Содержаніе для свѣтской элегіи заимствовалось изъ жизни общественной, а иногда и частной, личной. — Обширный отдѣлъ кіевскихъ піитикъ XVII и первой четверти XVIII в. посвященъ былъ т. н. курьезнымъ стихамъ и замысловатымъ эпиграммамъ (отдѣлъ de epigrammatibus artificiosis). Это были самые любимые модные роды стихотворства того времени. Правда, Ѳеофанъ Прокоповичъ отвергъ „курьезную“ эпиграмму, какъ пустую, но и послѣ него она не была совершенно оставлена. Преемникъ его по каѳедрѣ піитики въ Кіевѣ, Лаврентій Горка чувствовалъ потребность выбросить изъ своего учебника ученіе объ этихъ „кропотливыхъ бездѣлкахъ“ (laboriosae nugae), но у него недостало энергіи

поднять руку на то, чѣмъ восхищался вѣкъ: „поелику, говоритъ онъ въ своей „Edea artis poëseos“ 1707 г. — вѣкъ нашъ находитъ въ нихъ такое удовольствіе, что нѣкоторые благоговѣютъ, кажется, предъ стихами этого рода, то и мы возьмѣмъ терпѣніе показать здѣсь на концѣ эти трудныя, по выраженію Горація, бездѣлицы, дабы кто-либо не укорилъ новичковъ, что они никогда не слыхали о нихъ“. И Горка начинаетъ излагать ученіе о змѣиной эпиграммѣ, о стихахъ параллельныхъ, стихотворномъ эхо, объ эпиграммѣ Протей, и рисовать своимъ ученикамъ стихи въ видѣ яйца, бокала, пирамиды, куба, звѣзды, круга. О курьезной эпиграммѣ трактуетъ, какъ увидимъ ниже, и піитика учителя Ломоносова, Ѳедора Квѣтницкаго. — Рядомъ съ этой искусственной эпиграммой въ Кіевской академіи развивалась эпиграмма церковная, иконописная, представлявшая изъ себя краткій и выразительный очеркъ характеристическихъ чертъ святого и назначенная для иконописцевъ и для подписей подъ иконами. Какъ на образцы для подражанія въ церковной эпиграммѣ, кіевская піитика 1720 г. „Parnassus“ указываетъ на Бидермана, Бавхузія и особенно Сарбѣевскаго: „Mathiae Cazimiri Sarbievii liricorum libri IV, epodon liber unus alterque epigrammatum“. Имѣла мѣсто, наконецъ, эпиграмма, какъ сатирическое и замысловатое выраженіе, достоинства котораго состояли въ краткости, ясности и остроуміи.

Перехожу теперь къ обзору піитики Квѣтницкаго. „Praefatio ad neopoetas“ въ восемнадцати четверостишіяхъ содержитъ, послѣ привѣтствій и благожеланій, объясненіе понятій, входящихъ въ составъ заглавія піитики: clavis, Parnassus, fons, malleus и др. Самая піитика распадается на двѣ части („methodi“), та и другая часть („methodus“) раздѣляется на отдѣлы („узлы“, nodi), а эти на главы („развязки“, solutiones). Первая часть „о рѣчи мѣрной, стихотворной“ (de oratione ligata) состоитъ изъ пяти отдѣловъ („узловъ“): 1-й составляетъ введеніе въ піитику, 2-й трактуетъ о тропахъ и фигурахъ, 3-й о стихотворствѣ вообще (de carmine in communi), 4-й о пособіяхъ стиха и 5-й о стихотворствѣ въ частности (de carmine in specie). Въ введеніи, послѣ общихъ замѣчаній о необходимости науки піитики), въ пяти „солюціяхъ“ говорится о значеніи слова поэзія, о пользѣ,

матеріи, формѣ и цѣли поэзіи, о различіи поэзіи отъ поэмы и раздѣленіи поэзіи. „Поэзія есть искусство о какой бы то ни было матеріи трактовать мѣрнымъ складомъ съ правдоподобнымъ вымысломъ, для увеселенія и пользы слушателей". „Вымыселъ — необходимое условіе для поэта, иначе онъ будетъ не поэтъ, а версификаторъ. Но вымыселъ не есть ложь. Лгать значитъ итти противъ разума. Поэтически вымышлять — значитъ находить нѣчто придуманное, т.-е. остроумное постиженіе соотвѣтствія между вещами несоотвѣтствующими. Великая польза поэзіи всѣми признана. Квѣтницкій приводитъ только стихъ Горація:

„Vixere fortes ante Agamemnona
Multi: sed omnes illachrymabiles
Urgentur, ignotiqve longa
Nocte, carent quia vate sacro".

Матерія поэзіи — двоякая: отдаленная и ближайшая. Отдаленная — всѣ вещи, дѣйствительныя, возможныя или только фантазіей измышленныя. Ближайшая — самыя стихи о какомъ-либо предметѣ. Форма — расположеніе или упорядоченіе (dispositio aut coordinatio) стопъ по способу того или другого рода стихотвореній. Цѣль — говорить, двигать и увеселять чрезъ подражаніе и стихъ. „Поэзія — искусство, способность. Поэтъ — авторъ вымысла, творецъ стиховъ, композиторъ. Поэма или эпопея есть подражаніе дѣйствію героическому, стихомъ гекзаметромъ предложенное для возбужденія любви и жалости. Это — самое дѣло или плодъ поэта. Предметъ поэмы: войны, побѣды, подвиги во славу отечества, добродѣтели и Бога. Поэма состоитъ изъ трехъ частей: предложенія, призыванія и повѣствованія. Стиль можетъ быть употребляемъ въ поэзіи троякій: низкій, средній и высокій. Поэзія раздѣляется на натуральную и искусственную, совершенную и несовершенную, священную и свѣтскую.

Отдѣлъ („узелъ, nodus") второй — о тропахъ и фигурахъ — имѣетъ семнадцать главъ („развязокъ, solutiones"). Съ этимъ отдѣломъ піитики Квѣтницкаго представляетъ близкое сходство вторая часть риторики Ломоносова (1744 г., напеч. 1748 г.) „о тропахъ и фигурахъ реченій и предложеній". По опредѣленію Квѣтницкаго, „тропъ есть перемѣна

или перенесеніе, гдѣ это пригодно, слова или рѣчи отъ собственнаго значенія на иное". Троповъ всегда одиннадцать. Семь троповъ слова (verbi): метафора, синекдоха, метонимія, антономазія, ономатопея, катахрезисъ, металепсисъ, и четыре тропа предложеній (sensus): аллегорія, перифразисъ, иперватонъ и ипербола". Опредѣленія и способы образованія троповъ въ піитикѣ Квѣтницкаго тѣ же, что и въ риторикѣ Ломоносова. Любопытно, что въ піитикѣ Квѣтницкаго между латинскими примѣрами на тропы встрѣчаются и славянскіе стихи. Такъ, на тропъ аллегорію:

Господствуешь ты славно, мы хлѣба лишенны.
С полной бочки піешь пиво, мы (воды?) обнаженны.
Аще тя довольствовать не могутъ двѣ рѣки,
Туне ищешь в студенцахъ доволства во вѣки.
И еще: Аще у богатаго не испросишь злата,
Туне ищешь маргари у нищаго брата.

„Фигура есть новый способъ говоренія (nova loquendi ratio), отдаленный отъ вульгарной и обычной рѣчи. Отличается отъ тропа тѣмъ, что послѣдній переноситъ слово отъ собственнаго значенія на несобственное, а фигура простое реченіе изящно отдѣлываетъ (expolit), украшаетъ и выражаетъ. Фигуры рѣченій образуются троякимъ способомъ: чрезъ прибавленіе, отъятіе и уподобленіе. Первымъ способомъ образуются девять фигуръ, вторымъ пять, третьимъ восемь. Фигуръ предложеній двадцать шесть.

Отдѣлъ („узелъ", nodus) третій „о стихѣ латинскомъ вообще" содержитъ одиннадцать главъ („солюцій", развязокъ), въ коихъ трактуется о стопахъ, о свойствахъ и названіи стиховъ, объ украшеніяхъ, достоинствахъ и недостаткахъ латинскаго стиха вообще и въ частности гекзаметра и пентаметра, о стихѣ сафическомъ и о другихъ родахъ стихотвореній. „Какъ безъ фундамента не можетъ стоять домъ, и безъ крыльевъ не можетъ летать никакая птица, такъ и безъ стопъ никоимъ образомъ не можетъ составиться латинскій стихъ. Посему прежде всего рѣчь идетъ о стопахъ, какъ очень употребительныхъ, такъ и менѣе употребительныхъ. „Стопа — часть стиха, ограниченная извѣстнымъ числомъ слоговъ и порядкомъ". Стопы по количеству слоговъ бываютъ различны. Перечисляются виды стопъ двусложныхъ, трехсложныхъ и четырехсложныхъ. „Carmen me-

rum aut versus“ есть рѣчь, связанная извѣстнымъ родомъ, числомъ и порядкомъ стопъ. Стихъ разнообразно называется, — 1) отъ матеріи: героическій, элегическій, родинный (genetlicaum carmen), буколическій, георгическій, комическій; 2) отъ изобрѣтателей: сафическій, адоническій, асклепіадскій, гликоническій, алкаическій, пиндаровъ, горацiанскій, фалевковъ; 3) отъ числа слоговъ: пятисложный, одиннадцатисложный; гекзаметръ — изъ шести метровъ или стопъ, пентаметръ — изъ пяти (ибо pes, стопа иногда называется metrum); 4) отъ числа стопъ: бинарій или монометръ, сенарій или тринометръ, октонарій или тетраметръ; 5) отъ стопы чаще полагаемой: ямбъ, трохей, дактиль, анапестъ; 6) отъ одной опредѣленной стопы: спондей: 7) отъ однообразія или разнообразія родовъ стиха: моноколонъ, диколонъ, триколонъ, тетраколонъ; 8) отъ числа стиховъ: дистихонъ, тетрастихонъ, экзастихонъ; 9) отъ полноты или недостатка стопъ: акаталектъ, иперкаталектъ, брахиталектъ; 10) отъ инструментовъ: лирическій отъ лиры, также — отъ мѣстъ: делосскій отъ острова Делоса“. Въ такомъ же порядкѣ перечисляются виды стиховъ въ кіевскихъ пiитикахъ, напр., въ учебникѣ Lyra 1696 г. Объ украшеніяхъ, достоинствахъ и недостаткахъ латинскаго стиха, въ частности гекзаметра и пентаметра, говорится довольно подробно. Въ образецъ сафическаго стиха приводятся латинскіе стихи Сарбѣевскаго. Въ послѣдней „развязкѣ“ этого „узла“ говорится о составѣ другихъ видовъ стихотвореній, которыхъ насчитывается двѣнадцать.

Отдѣлъ или „узелъ“ четвертый (nodus quartus) „о пособіяхъ стиха“ имѣетъ восемь главъ („развязокъ“), въ которыхъ трактуется о вымыслѣ, объ упражненіи посредствомъ перифраза и традукціи, о способѣ изобрѣтать эпитеты, о синонимическихъ существительныхъ, о подражаніи, объ описаніи, о похвалѣ и порицаніи. „Вымыслъ (fictio) не только первое пособіе стиха, но самая душа всей поэзіи... Ибо тотъ только можетъ считаться поэтомъ, кто умѣетъ предлагать вымыслы. Вымыслы есть остроумное измышленіе (ingeniosa excogitatio) вещей правдоподобныхъ и завѣдомо ложныхъ, но принаровленныхъ къ предложенной матеріи. Или иначе вымыслъ есть рѣчь ложная, изображающая истину. Способъ изобрѣтенія вымысла троякій: 1) когда вещи безличной при-

писываемъ личность: душу, ростъ, физіономію, голову, глаза, волоса, грудь, руки, ноги, 2) когда вещи, не обладающей голосомъ, приписываемъ голосъ и разговоръ и 3) когда вещамъ, не имѣющимъ исторіи, приписываемъ историческія дѣянія. Поэтическій вымыселъ бываетъ четырехъ видовъ: нравственный, натуральный, смѣшанный и богословскій. Первый имѣетъ своимъ предметомъ нравы, добродѣтели, пороки, свойства душевныя. Второй вращается около міра, неба, земли. Третій — смѣсь тѣхъ и другихъ вымысловъ. Четвертый касается Бога, ангеловъ, святыхъ. У древнихъ, говоритъ Квѣтницкій, вымышлены были многочисленныя басни о богахъ. Перечисленіе нѣкоторыхъ басенъ предлагается затѣмъ въ алфавитномъ порядкѣ. Въ образецъ перифраза, на ряду съ стихами Виргилія, приводятся славянскіе стихи:

Не полагай надежды ни въ чести, ни въ златѣ —
Нынѣ златомъ сіяешь, утро лежишь въ блатѣ.
Не надѣйся на злато, аще и сіяешь
Славою и честію, утро прахъ бываешь и т. д.
Еще:
Имѣюще в тишине снедь малу с водою
Не ищи трапез драгихъ полныхъ непокою.
Имѣюще снедь малу, но довольну мира,
Бегай яствъ изобильныхъ, ждетъ тя пища сира

и т. д. перифразъ все той же мысли. Вотъ послѣдній образецъ:

Малою трапезою аще еси воленъ,
Остави богатство, будь сею доволенъ.

Въ образецъ традукціи приводятся латинскіе стихи изъ Сарбѣевскаго и славянское переложеніе, вѣроятно, самого Квѣтницкаго на стихъ сафическій, асклепіадскій, фалевковъ, ямбическій, алеманскій, трохаическій, пиндаровъ и гликоническій. — Способовъ изобрѣтать эпитеты восемь: 1) отъ причины матеріальной, формальной, производящей и конечной; 2) отъ впечатлѣній, которыя производитъ вещь; 3) отъ пяти чувствъ человѣка, которымъ подлежитъ вещь; 4) отъ противнаго; 5) отъ постороннихъ обстоятельствъ, именно отъ частицъ: qvis, qvid, ubi, qvibus avxiliis, cur, qvomodo, qvando (приводятся и образцы на всѣ эти вопросы);

6) и 7) отъ образованія словъ чрезъ прибавленіе извѣстныхъ образовательныхъ слоговъ, и 8) отъ всѣхъ троповъ и фигуръ. Въ образецъ, по всѣмъ этимъ способамъ развивается мысль: Cur Adam fastus de terra? Богатство существительныхъ, которыя, какъ синонимическія, можно употреблять въ стихахъ, представлено въ алфавитномъ порядкѣ:

Ager	Arva, novale, solus, cespes, rus, jugera.
Aier	Jupiter, avra, Aether, nubes vel inane vel astra.
Agricola	Rusticus, agresis, colonus, arator cultor agri, domitor, tavrorus, proles.
Aratrum	Arboreae rates, cur vomere stribula, plavstra.
Aetas	Hora, dies, et longaevum per saecula tempus.
Amor	Famma, calor, fervor, fax, aestus, ignis, ardor

и т. д.

„Подражаніе есть нѣкоторое сообразованіе (conformatio) нашей мысли съ мыслію какого-либо извѣстнаго образцоваго автора. Нельзя удовлетворительно поэтизировать, не упражняясь предварительно и усердно въ чтеніи поэтовъ. Для автора героической поэмы рекомендуется Виргилій, для элегической — Овидій, для сатирической — Ювеналъ, для лирической — Горацій, для эпиграмматической — Марціалъ, для трагической — Сенека, для комической — Плавтъ и Теренцій. Избраннаго автора должно читать съ величайшимъ вниманіемъ, но не должно подражать ему въ мелочахъ. Слѣдуетъ обращать вниманіе на то, что составляетъ базисъ и основаніе знаменитости авторовъ: возвышенныя мысли, остроуміе въ изобрѣтеніи, расположеніи, украшеніи, фигуры, подобія, выборъ словъ, стиль. Особенно важно усвоить себѣ стиль образцоваго автора. Въ образецъ приводятся славянскіе стихи, переводъ изъ Тасса (подражавшаго въ свою очередь Виргилію во 2-й кн. Энеиды):

Абіе архистратигъ Михаилъ воскорѣ,
Невидимъ иже бяше, зрится съ мечемъ горѣ,
Печалнѣйшему отъ всѣхъ Готфреду ужасны,
Предста облакомъ свѣтлымъ, аки день прекрасны.
Се благополучія приближися время,
Спасающіе сна отъ печална брѣмя.
Возри, рече, на небо, Готфреде, откуду
Узришь помощь велію грядущую ти сюду.
Безсмертныхъ полки воевъ тамъ числомъ мнози

Пріуготовлеваютъ въ походъ свои нози.
Азъ бренную отъ очесъ твоихъ сложу ризу,
Просвѣтятся воскорѣ сущу ти низу,
Естество ангелское узришь тако
Имѣетъ собою въ самой вещи яко.
И во истину облакъ зрѣнія твой честно.
Свѣтлость ангельскихъ зраковъ обыметъ нелестно.

„Описаніе есть рѣчь изъяснительная, которая посредствомъ разсказа предложенную вещь кратко и ясно представляетъ нашему уму такъ же, какъ зеркало предлагаетъ глазамъ схожія изображенія. Достоинства описанія — точность и краткость“. За тѣмъ предлагаются правила, какъ описывать: лица, военные подвиги, празднества, мѣста, времена, растенія, а въ слѣдующей главѣ „о похвалѣ и порицаніи“ даются совѣты, какъ хвалить: лица, животныхъ, мѣста города, растенія, времена. Такъ, при похвалѣ какого-либо извѣстнаго человѣка слѣдуетъ вспомнить его родъ, воспитаніе, перечислить дары тѣлесные и душевные и т. д.; похвалы животныхъ заимствовать отъ ихъ свойствъ. Чтобы похвалить городъ, слѣдуетъ говорить объ основателяхъ, о положеніи, о величественныхъ зданіяхъ, объ образованности гражданъ и т. д. Этимъ оканчивается общая часть піитики.

Частная или прикладная піитика составляетъ пятый отдѣлъ учебника Квѣтницкаго. Nodus quintus „о стихѣ въ частности“ изложенъ въ двадцати главахъ („солюціяхъ“). Прежде всего рѣчь идетъ о поэзіи эпиграмматической: о программѣ, анаграммѣ и эпиграммѣ, объ эпитафіи, загадкѣ, эмблемѣ, символѣ и іероглифѣ. Далѣе слѣдуютъ трактаты о поэзіи эпической, буколической, сатирической, драматической, элегической и лирической. Цѣлыхъ семь главъ (семь „развязокъ узла“) посвящено т. н. курьезному или забавному латинскому стиху. Послѣдняя, двадцатая глава имѣетъ своимъ предметомъ поэзію славянскую. „Программа есть простое реченіе, изъ котораго получается новое реченіе, означающее нѣчто другое. Анаграмма есть новое реченіе, полученное изъ расположенныхъ иначе программъ, буквъ или слоговъ. Напр. программа: Eva. Анаграмма Ave... Эпиграмма есть рѣчь, кратко и замысловато выражающая стихомъ какую-либо вещь. Она обычна на знаменахъ, бокалахъ, статуяхъ и т. д., особенно же на гробницахъ. Такъ какъ эпиграмма

требуетъ для себя остроумія, изобрѣтательности, замысловатости, то въ двухъ слѣдующихъ главахъ трактуется объ остроуміи, и откуда его почерпать. „Остроуміе (acumen) есть нѣкоторое художественное измышленіе, содержащее въ себѣ какой-либо неожиданный смыслъ“. Источники, изъ которыхъ почерпаются остроумныя изреченія, суть: 1) опредѣленіе предмета, 2) этимологія имени, 3) противное, 4) сродное, 5) перечисленіе частей, 6) уподобленіе, 7) сравненіе. Въ образцахъ эпитафіи приводятся эпитафіи императору Петру I, благородной матронѣ, мальчику по имени Главку и др. „Загадка, другой родъ эпиграммы, есть рѣчь темная, своими особенностями и уподобленіями описывающая какую-либо вещь“. Различаются грифъ и логогрифъ. „Эмблемма есть живописное изображеніе, изображающее нѣчто иное отъ того, что говоритъ о немъ, въ стихѣ или прозѣ, приложенная сентенція“. Эмблемма бываетъ натуральная, художественная, историческая и богословская. „Символъ есть живописное изображеніе, имѣющее цѣлію привести людей къ исправленію нравовъ“. Части символа: изображеніе, лемма и эпиграмма. „Іероглифъ есть знакъ или изображеніе животныхъ и другихъ вещей, означающее не то, что представляетъ, а нѣчто другое“.

„Поэзія эпическая есть изложеніе подвиговъ и дѣяній мужей славныхъ или необыкновенныхъ, — вымышленныхъ правдоподобно, составленное стихомъ гекзаметромъ. Части: предложеніе, призываніе и повѣствованіе. Нѣкоторые прибавляютъ четвертую часть — эпилогъ. Христіанскіе поэты, вмѣсто музъ и Апполона, обыкновенно призываютъ въ помощь для совершенія дѣла истиннаго Бога, блаженную Дѣву и святыхъ... Не просто слѣдуетъ излагать фактъ, но онъ долженъ облекаться нѣкоторымъ вымысломъ, который придаетъ ему прелесть и видъ необыкновенности. Въ образецъ эпической пѣсни Квѣтницкій указываетъ Виргилія. „Буколическая поэзія (bucolica seu georgica) есть подражаніе дѣйствіямъ простыхъ, сельскихъ жителей (rusticarum actionum imitatio)“. Иначе называется эклога... Части: экзордіумъ, повѣствованіе, эпилогъ. Образцы — эклоги Виргилія. „Поэзія сатирическая есть поэма остроумная, забавная, юмористическая, назначенная для порицанія испорченныхъ нравовъ людей. Это — шутливое стихотвореніе, составленное

для исправленія людскихъ недостатковъ". Образцы у Персея, Горація и Ювенала. Стиль сатиры долженъ быть вульгарный, низкій. „Поэзія драматическая есть изображеніе дѣйствій человѣческихъ, представленное лицами, говорящими между собою. Виды ея: комедія и трагедія. Комедія есть изображеніе смѣшныхъ и забавныхъ дѣяній въ разговорахъ между собою государственныхъ мужей и приватныхъ лицъ. Предметъ ея — дѣйствія забавныя, потѣшныя, смѣшныя. — Трагедія изображаетъ героическія дѣянія славныхъ мужей чрезъ представленіе лицъ, говорящихъ между собою. Предметъ ея — перемѣны счастія, бѣдствія, скорби, глубокое страданіе, битвы, пораженія и другія чрезвычайныя дѣянія героевъ. Образцы у Теренція и Сенеки. Частей комедіи и трагедіи пять: прологъ, дѣйствіе, сцена, хоръ и эпилогъ. Драмы пишутся преимущественно шестистопнымъ ямбическимъ стихомъ. Здѣсь же замѣчено, что славянскія драмы слагаются, преимущественно, стихами изъ тринадцати, или двѣнадцати и одиннадцати слоговъ. — Поэзія элегическая есть стихотвореніе, назначенное для печальныхъ матерій. Ея предметъ — слезы, погребальные плачи, несчастія людей, горе, бѣдствія и другія неблагополучія фортуны. Три части элегіи: экзордіумъ, изложеніе и заключеніе. Образцы у Овидія. — „Поэзія лирическая есть искусство сочинять краткія пѣснопѣнія не только во славу Бога, святыхъ и въ похвалу мужей славныхъ, но также въ похвалу какой бы то ни было неодушевленной вещи. Или, это есть ода, воспѣвающая вещи печальныя и радостныя. Оды раздѣляются на 1) моноколонъ, 2) диколонъ, 3) триколонъ, 4) тетраколонъ... Образцы у Горація, Сарбѣевскаго, Альберта Инеса и др. Стиль въ лирическихъ пьесахъ долженъ быть отличный, выразительный, блестящій.

Изъ видовъ „курьезнаго" или искусственнаго стиха въ піитикѣ Квѣтницкаго говорится объ акростихѣ, хроностихѣ, стихѣ кабалистическомъ, ариѳметическомъ, о стихѣ эхо, квадратѣ, ракообразномъ и змѣиномъ. „Акростихъ есть такое стихотвореніе, въ которомъ первыя буквы отдѣльныхъ стиховъ выражаютъ какой-нибудь смыслъ или имя". Приводятся образцы акростиха на слова: Iesus, Iudas. „Хроностихъ есть обозначеніе года буквами, выражающими число церковное. Кабалистическій стихъ есть обозначеніе года чрезъ

сложеніе въ одну сумму буквъ, означающихъ число ариѳметическое". Въ примѣчаніи Квѣтницкій оговаривается, что „этотъ стихъ удовлетворяетъ болѣе курьезности, чѣмъ пользѣ". „Ариѳметическій стихъ — тотъ, который свое число имѣетъ въ однихъ гласныхъ... Эхо есть такой стихъ, въ которомъ послѣднее реченіе соотвѣтствуетъ предпослѣднему или такъ же звучитъ, какъ это послѣднее... Квадратъ есть такое стихотвореніе, которое равно читается во всѣ четыре стороны... Ракообразное — то, которое одинаково можно читать и обыкновеннымъ образомъ, и обратнымъ порядкомъ... Змѣиное, во второмъ стихѣ котораго нѣкоторыя реченія или слоги такъ же согласуются съ первымъ стихомъ, какъ и съ третьимъ, и которое напоминаетъ какъ бы изгибы змѣи". Въ образецъ приведены славянскіе стихи.

Содержаніе послѣдней (двадцатой) главы этого отдѣла „о поэзіи славянской" слѣдующее. „Поэзія славянская есть такое же искусство о какой бы то ни было матеріи трактовать въ стихѣ съ правдоподобнымъ вымысломъ для увеселенія и пользы слушателей, какъ и латинская. Отсюда само собою понятно, что эпиграммы, элегіи, оды, сцены, эклоги, сатиры и проч. не менѣе увлекательно, какъ и изящно, могутъ писаться также и славянскимъ стихомъ". Отличіе одной отъ другой состоитъ 1) въ языкѣ: одна — на латинскомъ, а другая — на славянскомъ, 2) въ размѣрѣ: сила одной въ стопахъ, а другой (славянской) въ слогахъ и 3) въ риѳмѣ: славянскій стихъ постоянно требуетъ риѳмическаго окончанія, а латинскій, исключая леонинскаго, риѳмы не имѣетъ. Славянскій стихъ можетъ состоять изъ различнаго количества слоговъ, отъ тринадцати до четырехъ. Если состоитъ изъ тринадцати слоговъ, то цезуру долженъ имѣть на седьмомъ слогѣ, а каденцію на шестомъ, двѣнадцатисложный стихъ ту и другую на шестомъ и т. д., пятисложный — цезуру на второмъ, каденцію на третьемъ, четырехсложный — ту и другую на второмъ. Для образца приводятся по всѣмъ видамъ слоговъ стихи Сарбѣевскаго. Въ заключеніе дѣлаются замѣчанія объ украшеніяхъ и вообще о внѣшней структурѣ славянскаго стиха. Украшенія какъ латинскаго, такъ и славянскаго стиха, составляютъ слова и реченія изысканныя, метафорическія, отличныя отъ вульгарной и обыкновенной рѣчи. Предпослѣдній слогъ долженъ быть всегда

долгій. Должно остерегаться, чтобы цезура и каденція не оканчивались на односложныя слова, въ родѣ: разъ — мразъ и т. д. — Этимъ оканчиваетея піитика, — ученіе о связной (ligata, т.-е. поэтической) рѣчи.

Вторая часть учебника Квѣтницкаго (methodus 2-da, de soluta oratione) состоитъ изъ трехъ отдѣловъ, изъ коихъ въ первомъ говорится о періодахъ, во второмъ о расположеніи словъ и предложеній и въ третьемъ о хріи. Это т. н. риторическіе отрывки, помѣщавшіеся въ академическихъ учебникахъ послѣ піитики и служившіе, съ одной стороны, пособіемъ для самой піитики, а съ другой — приготовленіемъ къ риторикѣ. Въ самомъ концѣ помѣщаются стихи: ad poesim; ad clavim poeseos; ad clavis fabrum; ad juvenes Rossos; professoris ad dissipulos Vale; egressus ex schola; egressus extra scholam (по два стиха на каждый случай) и пять стиховъ ad terminum. Вотъ стихи ad clavis fabrum:

Quis faber exquiris? nomen Theodorus illi
Kwietnitsci fuerat quo viguit titulus.

Такова піитика Квѣтницкаго, которую слушалъ Ломоносовъ въ 1732—1733 учебномъ году. Слѣдующіе два года онъ провелъ въ классѣ риторики у учителя Порфирія Крайскаго. До насъ дошелъ учебникъ риторики 1733—1734 года, составленный Порфиріемъ Крайскимъ и въ большей своей части (за исключеніемъ немногихъ страницъ, писанныхъ другою рукою) писанный рукою Ломоносова. Учебникъ этотъ на латинскомъ языкѣ. Полное заглавіе риторики: „Artis rhetoricae praecepta tres in libros divisa atque ad instruendum oratorem selectioribus eloquentiae fundamentis ad elegantiam styli in omni genere dicendi tradita Moscovia ex anno 1733, in annum 1734, octobris 17“. Что же представляетъ эта риторика, слышанная и собственноручно списанная Ломоносовымъ? Она имѣетъ всѣ особенности риторикъ, читавшихся въ тогдашней Кіевской академіи.

Учебники по риторикѣ и въ древней Кіевской и въ древней Московской академіяхъ были очень однообразны, несмотря на то, что каждый почти преподаватель риторики не читалъ своего предмета по руководствамъ своихъ предмѣстниковъ, но составлялъ новое руководство. Какъ и піитика, риторика дѣлилась на общую и частную или прикладную. Общая ри-

торика состояла изъ введенія и самой риторики. Въ введеніи рѣшались общіе вопросы о томъ, что такое риторика, о происхожденіи, о достоинствѣ, необходимости и пользѣ риторики, о предметѣ и частяхъ ея, о причинѣ риторики, объ обязанностяхъ и цѣли автора, о пособіяхъ къ риторикѣ и т. п. Сюда же вносились иногда трактаты о распространеніи и періодахъ, о достоинствахъ и недостаткахъ слога, о высшемъ, среднемъ и низшемъ слогѣ и пр. Самая риторика обыкновенно состояла изъ пяти частей: 1) объ изобрѣтеніи, 2) о расположеніи, 3) о выраженіи, 4) о памяти и 5) о произношеніи. Послѣднія двѣ части нерѣдко соединялись въ одинъ трактатъ. Въ прикладной риторикѣ главное мѣсто отводилось такъ называемымъ эпидиктическимъ рѣчамъ, заключавшимъ въ себѣ похвалы и примѣнявшимся какъ къ панегирикамъ, такъ и къ рѣчамъ на торжественные случаи человѣческой жизни, требующіе особыхъ обрядовъ, церемоній и приличій. То были поздравительныя рѣчи на праздники, дни рожденія, именины, на побѣды, рѣчи на родинахъ, брачныя, привѣтственныя, похоронныя, благодарственныя, застольныя, дарственныя и пр., и, наконецъ, собственно школьныя рѣчи, рѣчи, предшествовавшія диспутамъ, и т. п. Панегирическое направленіе этихъ рѣчей доведено было у кіевскихъ ученыхъ до послѣдней крайности. Они не щадили при этомъ самыхъ пышныхъ цвѣтовъ краснорѣчія, не отступали ни передъ какими сравненіями... Главнымъ средствомъ панегиризма было распространеніе. „Какъ во всякой другой, такъ и особенно въ эпидиктической рѣчи, — говоритъ Ѳеофанъ Прокоповичъ, — есть мѣсто распространеніямъ, и въ нихъ, кажется, заключается вся сила похвалы; ибо по большей части случается, что не требуется никакого искусства для изобрѣтенія аргументовъ, служащихъ чьей-либо похвалѣ, какъ напримѣръ: когда желаешь прославить побѣдителя, то одна матерія и аргументъ представляется, — это побѣда, которую тебѣ не нужно изобрѣтать измышленіемъ, поелику она для всѣхъ очевидна. Итакъ, что же? Нужно только изобрѣтать аргументы распространяющіе, которыми нужно показать, что побѣда была великая, требовавшая большой храбрости и военной опытности“. За эпидиктическими рѣчами слѣдовалъ отдѣлъ о священномъ или церковномъ краснорѣчіи. „Выраженіе священное, — говорятъ кіевскіе риторики, — отличается

отъ свѣтскаго одною матеріей, именно, тѣмъ, что выраженіе священное вращается около священной матеріи, и для подтвержденія ея берутся доказательства изъ началъ священныхъ, какъ-то: изъ св. писанія, св. отцовъ, которыми проповѣдникъ убѣждаетъ избѣгать грѣха и слѣдовать добродѣтели. Правила суть одни и тѣ же и для священнаго и для свѣтскаго краснорѣчія, какъ свидѣтельствуетъ Кавзинъ, ибо какъ свѣтскій ораторъ распространяетъ свою рѣчь чрезъ риторическія мѣста, украшаетъ тропами, располагаетъ, такъ и священный ораторъ". Вотъ и все содержаніе прикладной риторики до Ѳеофана Прокоповича. Отдѣлъ о письмахъ относимъ былъ къ піитикѣ на томъ основаніи, что письма въ классическомъ мірѣ и въ Польшѣ писались иногда стихами. О судебномъ родѣ краснорѣчія говорилось, большею частью, только въ общей части риторики и то какъ бы мимоходомъ, потому что этотъ родъ краснорѣчія, по выраженію кіевскихъ ученыхъ, „малоупотребителенъ въ настоящій вѣкъ". Ѳеофанъ Прокоповичъ въ прикладной своей риторикѣ помѣщаетъ слѣдующіе отдѣлы: о рѣчахъ эпидиктическихъ, о церковномъ краснорѣчіи, о письмахъ, о способѣ писанія исторіи (совсѣмъ новый отдѣлъ, встрѣчающійся только у Ѳеофана) и о судебномъ родѣ краснорѣчія.

Воскресенскій.

Вліяніе Московской академіи на Ломоносова.

Вліяніе Московской академіи на Ломоносова, какъ писателя и ученаго, было многосторонне и сильно въ большей или меньшей степени. Въ академіи онъ изучилъ латинскій, греческій и славянскій языки, піитику и риторику. Нечего и говорить о значеніи латинскаго и греческаго языковъ для послѣдующей дѣятельности Ломоносова, какъ ученаго: оно очевидно. „Классическое обученіе Спасскихъ школъ — говоритъ академикъ Гротъ — поставило Ломоносова на твердую почву европейской цивилизаціи; оно положило свою печать на всю его умственную дѣятельность, отразилось на его ясномъ и правильномъ мышленіи, на оконечности всѣхъ трудовъ его". Подробнѣе говоритъ о вліяніи Московской

академіи на Ломоносова г. Буличъ. „Московская академія сдѣлала много для духовнаго развитія Ломоносова... Схоластическая рутина имѣла свои хорошія стороны. Она давала образованіе, основанное на языкахъ классическихъ, то, которое извѣстно Европѣ, и такимъ образомъ невольно вводила ученика въ кругъ общечеловѣческихъ представленій. Въ академическомъ ученіи были историческія преданія и извѣстныя формы, въ которыя укладывался умъ. Человѣкъ получалъ здѣсь опредѣленный характеръ, котораго не дастъ образованіе, не имѣющее твердыхъ началъ. Для пылкаго, неустановившагося, неразвитаго ума Ломоносова необходима была такая строгая школа. Въ академіи онъ познакомился съ языкомъ латинскимъ, тогдашнимъ общественнымъ языкомъ европейской науки, познакомился съ латинской литературой, имѣвшей потомъ вліяніе на складъ поэтическихъ и прозаическихъ его произведеній и самъ выучился писать латинскіе стихи. Въ академіи читалъ русскіе лѣтописи, подробно узналъ св. писаніе отцовъ церкви и въ особенности современныя теоріи риторическія, въ рамки которыхъ должна была уложиться его поэзія... Тяжелы были для Ломоносова эти первыя годы знакомства съ наукой... Но эта горькая нужда и тяжкая дѣйствительность образовали характеръ Ломоносова, дали ему гордость, стоическое терпѣніе и силу „бороться съ непріятелями россійскихъ наукъ“, дали ему „благородную упрямку и смѣлость къ преодолѣнію всѣхъ препятствій“. Онъ могъ выдержать борьбу до гроба, не измѣнивъ себѣ и своимъ началамъ. Жизнь Ломоносова вырастаетъ предъ нами какъ подвигъ, какъ борьба“. Славянская грамматика Смотрицкаго имѣла значительное вліяніе на русскую грамматику Ломоносова. Школьная піитика такъ или иначе вліяла на эпику, драму и лирику Ломоносова, а риторика — на его собственную риторику, по правиламъ которой составлялись имъ похвальныя слова и ученыя изслѣдованія по естествознанію. Вотъ вліянія школьной науки на Ломоносова, болѣе или менѣе сильныя и прямыя. Но это не все. „Нельзя отвергать — говоритъ авторъ „Исторіи Московской славяно-греко-латинской академіи“, приступая къ составленію списка замѣчательныхъ лицъ, учившихся въ Московской академіи и пріобрѣтшихъ послѣ извѣстность въ государствѣ или въ области науки — что сѣмена духов-

наго воспитанія, посѣянныя академіею въ юныхъ сердцахъ, принесли впослѣдствіи свои плоды: впечатлѣнія дѣтства всегда бываютъ сильны и рѣдко изглаждаются изъ души, хотя бы она прошла различныя степени дѣятельности. Потому въ людяхъ, вышедшихъ изъ академіи и возвысившихся на чредѣ служенія государству, можно искать проблесковъ мыслей, озарявшихъ ихъ въ годы ученія, и въ направленіи ихъ духа открывать слѣды тѣхъ началъ образованія, которыя приняли они въ академіи". Еще съ дѣтства любилъ Ломоносовъ посѣщать храмъ Божій, пѣть и читать на клиросѣ, любилъ церковно-славянскую грамоту. Въ академіи онъ могъ вполнѣ удовлетворить этой своей привязанности. Здѣсь онъ находилъ досугъ читать св. писаніе и творенія великихъ отцовъ и учителей церкви: Василія Великаго, Григорія Богослова, Іоанна Златоустаго, Іоанна Дамаскина и др. Особенно любилъ онъ читать Василія Великаго, котораго Шестодневъ касается столь любезной ему „натуры" и порядка божественнаго мірозданія. Вотъ это-то чтеніе и углубленіе въ смыслъ св. писанія и святоотеческихъ твореній и были тѣми „сѣменами духовнаго воспитанія", которыя принесли впослѣдствіи свой плодъ въ дѣятельности Ломоносова, какъ натуралиста. *Воскресенскій.*

Ломоносовъ въ Марбургѣ.

Посреди этихъ тяжелыхъ лишеній и упорнаго труда, требовавшаго сильной воли и физически крѣпкой натуры, послѣ годовой, по собственному желанію, отлучки въ Кіевъ, гдѣ Ломоносовъ разсчитывалъ поучиться въ тамошней, болѣе славной, чѣмъ Московская, академіи, онъ попадаетъ въ Петербургъ, и съ этого времени судьба его надолго, до самой смерти, соединяется съ судьбою Академіи Наукъ. Послѣдняя, чтобъ сколько-нибудь доказать свою связь съ страною, пріютившею иностранныхъ академиковъ и дававшею имъ жалованье и чины, желала учить русскихъ людей въ соединенной съ нею гимназіи. Съ этою цѣлію она не разъ требовала отъ Московской духовной академіи знающихъ по-латыни студентовъ (что было необходимо, такъ какъ сами члены Ака-

деміи не знали по-русски), для обученія ихъ физикѣ и математикѣ. Первая подобная посылка студентовъ изъ Москвы была въ 1732 или 1733 году. Половина присланныхъ (ихъ было 12) взята была въ отправлявшуюся тогда Академіей камчатскую экспедицію, и изъ нихъ, по свидѣтельству Ломоносова, удался одинъ только Крашенинниковъ, извѣстный авторъ „Описанія Камчатки“; прочіе же „отъ худого присмотра всѣ испортились“, а тѣ, которые оставались въ Петербургѣ, безъ призрѣнія и ученія, пошли въ подьячіе или ремесленники. Новая посылка, также двѣнадцати студентовъ изъ Москвы, послѣдовала въ концѣ 1735 года. Въ ихъ числѣ былъ и Ломоносовъ, какъ достаточно знающій латинскій языкъ. Въ Петербургъ онъ прибылъ 1 января 1736 года. Время, проведенное Ломоносовымъ въ академической гимназіи, было слишкомъ коротко; ему, уже двадцатичетырехлѣтнему молодому человѣку, нечему было въ ней учиться; притомъ и содержаніе и ученіе въ гимназіи были жалки. Шумахеръ, заправлявшій тогда Академіей, видѣлъ въ ученикахъ гимназіи доходную статью. Очень понятно, что „ученики терпѣли крайнюю нужду и въ наукахъ не имѣли наставленія“, что̀ заставило ихъ потерять всякое терпѣніе и даже жаловаться Сенату на Шумахера. Ломоносовъ, бывшій въ это время уже въ Германіи, говоритъ о своихъ товарищахъ, что „многіе изъ нихъ, безъ призрѣнія и добраго смотрѣнія, будучи въ уничтоженіи, отъ унынія и отчаянія пустились въ подлость и тѣмъ потеряны“. Несмотря на все это, Ломоносовъ обязанъ Академіи Наукъ возможностію получить средства для того, чтобы принести дѣйствительную пользу русскому образованію. Академія отправила его за границу.

Государство нуждалось въ сильной степени въ практически знающихъ людяхъ почти на каждомъ шагу. Необходимость имѣть „опытнаго въ горномъ дѣлѣ химика“ была причиною отправки за границу Ломоносова. Съ этою цѣлію баронъ Корфъ, сдѣланный въ 1734 году Анною Ивановною, или лучше — Бирономъ, изъ лифляндскихъ камеръ-юнкеровъ президентомъ Академіи Наукъ, писалъ въ концѣ 1735 года къ Генкелю, берграту въ Фрейбергѣ, тогдашней знаменитости въ горномъ дѣлѣ, прося его рекомендовать такого человѣка. Въ распоряженіи Генкеля не нашлось опытнаго химика, и онъ совѣтовалъ Корфу послать одного или двухъ русскихъ моло-

дыхъ людей для изученія горнаго дѣла, указывая на Фрейбергъ, какъ на такое мѣсто, гдѣ удобнѣе всего изучать горныя науки, металлургію и пріобрѣсти также предварительныя свѣдѣнія. Генкель предлагалъ свои собственныя услуги и писалъ, что для ученія достаточно употребить полтора года. Едва только получено было это письмо Генкеля съ совѣтомъ и предложеніемъ, какъ Корфъ, 5 марта 1736 года, уже докладывалъ въ кабинетѣ Ея Величества объ отправленіи въ Фрейбергъ для изученія металлургіи трехъ молодыхъ людей: Ульриха-Христофора *Райзера*, сынъ горнаго совѣтника въ Москвѣ, Димитрія *Виноградова*, сына суздальскаго священника, и Михаила *Ломоносова*, крестьянскаго сына Архангельской губерніи, 22 лѣтъ. Отправить ихъ предполагалось лѣтомъ, а время до отъѣзда Виноградовъ и Ломоносовъ должны были посвятить изученію нѣмецкаго языка, съ которымъ вовсе не были знакомы. Каждому назначалось въ годъ содержанія по 400 рублей, и такъ какъ въ Фрейбергѣ жизнь стоила дешево, то на экономію предполагалось еще окончательное путешествіе въ Голландію, Англію и Францію. Отправляемымъ обѣщано было, въ случаѣ доказанныхъ аттестатами и представленными трудами, успѣховъ въ изучаемыхъ ими наукахъ, что по возвращеніи въ отечество, ихъ сдѣлаютъ экстраординарными профессорами, съ жалованьемъ по 460 р. въ годъ. Обѣщались также и чины. Докладъ Корфа былъ одобренъ. Райзеру, горному совѣтнику, отцу отправляемаго молодого человѣка, поручено было составить проектъ заграничныхъ занятій, и изъ перечисленій наукъ, необходимыхъ для горнаго химика, оказалось, что полтора года пребыванія въ Фрейбергѣ слишкомъ недостаточно, что необходимо еще предварительное изученіе многаго другого. По счету же Генкеля, присланному въ письмѣ къ Корфу, выходило, что ученіе и пребываніе студентовъ въ Фрейбергѣ будетъ стоить дороже, чѣмъ предполагалось: прежняя сумма 400 р. на каждаго возрастала до 520 р. Все это измѣнило первоначальный планъ, и рѣшено было отправить молодыхъ людей на два года для предварительнаго приготовленія въ Марбургскій университетъ, подъ руководство Вольфа, а потомъ уже въ Фрейбергъ, Голландію, Англію и Францію, — собственно для изученія горнаго дѣла.

Выборъ Марбургскаго университета былъ очень понятенъ,

потому что славу этого университета составлялъ тогда знаменитый Вольфъ, а онъ давно уже находился въ очень близкихъ сношеніяхъ съ русской Академіей.

Снабженные рекомендательнымъ письмомъ президента къ Вольфу, студенты отправились въ Германію моремъ, 8 сентября, 1736 г. Плаваніе было неудачно, и сильная буря заставила корабль воротиться назадъ въ Кронштадтъ 19 сентября, откуда онъ отправился вторично чрезъ четыре дня. Почти цѣлый мѣсяцъ, въ глухую осень, провели путешественники на морѣ, и только 16 октября удалось имъ высадиться въ Травемюнде. Въ Марбургъ явились они 3 ноября, и Вольфъ тогда же взялъ на себя наблюденіе и за ихъ жизнію и за ихъ ученіемъ, о чемъ особенно просилъ его Корфъ. Черезъ двѣ недѣли послѣ пріѣзда, 17 ноября, всѣ трое были внесены въ университетскую книгу и принялись за занятія. Имъ приходилось, повидимому, учиться съ начала, изъ чего ясно видно, какъ плохо они были приготовлены для заграничнаго ученія. Содержаніе студентамъ высылалось на имя Вольфа, который выдавалъ его по мѣрѣ надобности, и Корфъ, въ письмахъ своихъ къ студентамъ, не разъ требовалъ отъ нихъ аккуратности и подробныхъ отчетовъ о томъ, куда идутъ деньги. Но незначительнаго содержанія, изъ котораго Академія еще экономизировала для будущаго путешествіе студентовъ, далеко не доставало имъ. Молодые люди принесли съ собою въ Марбургъ всѣ жалкія условія вѣковой безформенности русской жизни. Ихъ разгульнымъ привычкамъ, съ другой стороны, давали обильную пищу и старинныя условія нѣмецкой студенческой жизни. Пьянство, развратъ и буйство составляли общую характеристику университетской молодежи въ XVIII вѣкѣ, когда ни одна живая политическая идея не западала въ голову нѣмецкаго студента, и весь запасъ молодыхъ силъ тратился на безсмысленные порывы физической природы. При такомъ характерѣ студенческой жизни въ Марбургѣ, гдѣ было большое стеченіе молодежи, привлеченной славою Вольфа, гдѣ, слѣдовательно, обыкновеннымъ привычкамъ студенческой жизни былъ полный просторъ, развилось ростовщичество, вызывавшее нѣсколько разъ строгіе указы ландграфа гессенскаго, къ владѣніямъ котораго принадлежалъ Марбургъ. Очень естественно было, что русскіе студенты, не привыкшіе и на родинѣ къ нравственной сдержкѣ, а въ Гер-

маніи, тотчасъ же по пріѣздѣ, поспѣшившіе обзавестись шпагами, увлеклись окружавшею ихъ свободною студенческой жизнію и надѣлали долговъ, подрывая ими всѣ расчеты пославшей ихъ Академіи. Долги возрастали съ каждымъ днемъ, и Вольфъ, напуганный ихъ объемомъ, уже совѣтуетъ Академіи отозвать обратно студентовъ, „такъ какъ они не умѣютъ пользоваться академическою свободою и, кромѣ того, выполнили все, за чѣмъ были присланы въ Марбургъ“. Академія, соглашаясь съ Вольфомъ, торопила выѣздъ студентовъ въ Фрейбергъ, къ Генкелю, гдѣ они должны были закончить свое образованіе изученіемъ металлургіи и горнаго дѣла.

Не столько, повидимому, успѣхи студентовъ въ Марбургскомъ университетѣ, сколько ихъ безпорядочная жизнь и постоянное возрастаніе итога долговъ, которые приводили въ ужасъ Вольфа, было причиною общаго желанія выпроводить ихъ поскорѣе въ Фрейбергъ. Вольфъ называетъ долги эти *лабиринтомъ* и недоумѣваетъ, какъ выберутся изъ него студенты. Причиною долговъ, по словамъ его, студенты выставляютъ свою неопытность и необдуманность. Онъ не понималъ, какимъ образомъ могли явиться эти долги, и дѣйствительная причина ихъ только послѣ ихъ отъѣзда стала ему ясною. Отъѣздъ студентовъ изъ Марбурга долженъ былъ очень обрадовать Вольфа. Отъѣздъ этотъ послѣдовалъ 9/20 іюля 1739 г. Каждому изъ студентовъ, по распоряженію Академіи, выдано было только 20 тал. на дорогу, и деньги эти вручены имъ были Вольфомъ не прежде, какъ всѣ они, въ дорожномъ экипажѣ, заѣхали проститься къ нему. Ломоносовъ, отъ слезъ и отъ горя, подъ вліяніемъ упрековъ и наставленій Вольфа, не могъ, по словамъ его даже говорить во время этого прощанія. Ломоносовъ любилъ и уважалъ своего наставника.

Чѣмъ онъ былъ обязанъ въ научномъ отношеніи Вольфу, какія идеи изъ преподаванія Вольфа запали въ его воспріимчивый и пылкій умъ, — на это могутъ служить отвѣтами только послѣдующіе ученые труды Ломоносова и общій взглядъ его на природу и ея изученіе, — взглядъ, во многомъ напоминающій систему Вольфа. Ломоносовъ уважалъ Вольфа, какъ человѣка и какъ знаменитаго ученаго. Онъ называетъ его своимъ „учителемъ и благодѣтелемъ“. Онъ переводитъ впослѣдствіи его „Экспериментальную физику“ и даже пере-

писывается съ нимъ. Но особенно значеніе Вольфа въ Марбургскомъ университетѣ и вообще въ Германіи, слава и уваженіе, которыми онъ былъ окруженъ, почести и матеріальное благосостояніе, доставшіяся ему послѣ вступленія на прусскій престолъ Фридриха II, — все это значеніе ученаго въ родной его странѣ, немыслимое въ средѣ, окружавшей Ломоносова, — сдѣлались его идеаломъ. Ломоносовъ, добиваясь власти въ Академіи и уваженія между покровительствовавшими ему мецентами, не разъ ставилъ въ примѣръ своего учителя, его баронство, его пятьсотъ тысячъ, нажитыя лекціями и подарками государей, его чинъ тайнаго совѣтника.

Вольфъ, этотъ даровитый и популярный ученикъ Лейбница, образовалъ, какъ извѣстно, въ Германіи обширную школу послѣдователей, и его философія, отличавшаяся формализмомъ и строгою логическою послѣдовательностью, а вмѣстѣ съ тѣмъ и общедоступностію, господствовала довольно долго въ Германіи, до тѣхъ поръ, пока не нанесъ ей смертельныхъ ударовъ Кантъ своею критикою. Не представляя изъ себя самобытнаго мыслителя, Вольфъ оказалъ однакожъ много услугъ вообще нѣмецкому образованію. Онъ сдѣлалъ науку общедоступною, несмотря на ея сухую форму у него. Въ его понятные и точные параграфы укладывались слишкомъ геніальныя мысли Декарта, Спинозы, Лейбница, теряя отчасти свое достоинство, но зато дѣлаясь удобными для усвоенія. Кромѣ того Вольфъ, вмѣсто латинскаго, сталъ преподавать на родномъ нѣмецкомъ языкѣ, а это было новостью въ то время.

Ломоносовъ явился въ Марбургъ для изученія наукъ эмпирическихъ. Безспорно, для страстной натуры Ломоносова, добивавшейся всякаго знанія, требовавшей отъ науки, какъ это всегда бываетъ съ натурами геніальными, разрѣшенія самыхъ спорныхъ и затруднительныхъ вопросовъ, три года, проведенные въ строгой и сухой школѣ Вольфовой логики, въ которой разрабатывалось все достояніе современной мысли, были въ высшей степени полезны. Здѣсь, согласно господствовавшему направленію науки о природѣ въ XVIII вѣкѣ, онъ могъ получить общій взглядъ на вселенную, по которому она представляется не случайнымъ соединеніемъ разнообразныхъ силъ, а общей гармоніей, сводится къ одной идеѣ, все направляющей. Здѣсь, въ школѣ Вольфа и въ томъ

служебномъ значеніи для общества, какое давалъ наукѣ Вольфъ, могли окрѣпнуть идеи Ломоносова о необходимомъ практическомъ примѣненіи науки къ жизни, ея жизненныхъ свойствахъ, вызываемыхъ, впрочемъ, съ другой стороны и самыми потребностями окружавшаго его русскаго общества. Просвѣтительное значеніе науки и ея борьба съ предразсудками могли яснѣе возникнуть въ умѣ Ломоносова подъ вліяніемъ уроковъ его учителя, принадлежавшаго къ той фалангѣ людей, которые во всѣхъ образованныхъ странахъ Европы вели въ XVIII в. ожесточенную и сильную вліяніемъ борьбу съ предразсудками и остатками средневѣкового развитія. Здѣсь, наконецъ, въ школѣ Вольфа, Ломоносовъ могъ познакомиться съ распространеннымъ тогда въ наукѣ оптимизмомъ Лейбница, по которому всякое явленіе природы имѣетъ опредѣленную цѣль, служащую общей великой цѣли, по которому природа есть откровеніе величія божественнаго. Германіи и ея наукѣ, въ томъ видѣ, какъ онъ узналъ ее въ Марбургѣ, Ломоносовъ обязанъ былъ всѣмъ запасомъ научныхъ свѣдѣній, которыя потомъ излагалъ въ Академіи Наукъ, въ своихъ рѣчахъ, урокахъ и книгахъ.

Безъ сомнѣнія, Ломоносовъ въ Марбургѣ работалъ много надъ тѣми науками и свѣдѣніями, для изученія которыхъ былъ посланъ. Работы его засвидѣтельствованы, наконецъ, и латинскимъ разсужденіемъ по физикѣ, посланнымъ въ Петербургъ въ концѣ 1738 года. Изъ списка купленныхъ имъ книгъ, представленнаго въ Академію, видно, что главныя пріобрѣтенія сдѣланы по отдѣлу химіи, кромѣ, разумѣется, сочиненій Вольфа, которыя были и многотомны и обнимали всѣ части философіи. Но рядомъ съ химіей шла и поэзія. И жизнь Ломоносова съ ея необыкновенною обстановкою, и волновавшая душу его жажда знанія, и самый складъ его молодого, пытливаго ума, — все, казалось, настраивало его къ поэзіи. Къ сожалѣнію, время и его условія мало благопріятствовали поэзіи; она не могла въ XVIII вѣкѣ развиться до свободнаго выраженія человѣческаго духа и должна была замкнуться въ тяжелыя рамки современныхъ реторическихъ теорій, въ которыхъ исчезалъ личный характеръ поэта. Въ поэзіи господствовало подраженіе древнимъ и тотъ ложноклассическій, напыщенный и вмѣстѣ съ тѣмъ раболѣпный восторгъ, которымъ полны были современныя оды, бывшія

для поэтовъ средствами къ жизни и орудіемъ лести. Такой характеръ поэзіи представлялся тогда всюду. Даже въ Марбургскомъ университетѣ, со стороны гессенъ-кассельскаго правительства, назначена была премія въ двѣнадцать талеровъ за оды и панегирики „высокопоставленнымъ особамъ“. Не мудрено было Ломоносову послѣдовать господствовавшему вкусу. Между его книгами въ Марбургѣ встрѣчаются и современная піитика Гюбнера и стихотворенія нѣмецкаго поэта Гюнтера, имѣвшаго на него признанное вліяніе и, наконецъ, классическіе образцы: Овидій, Виргилій, Цицеронъ, Сенека, Плиній и даже двѣ такія противоположныя, хотя и равно извѣстныя книги современности, какъ „Приключенія Телемака“ и „Путешествія Гулливера“. Автору первой изъ этихъ книгъ, Фенелону, знаменитому воспитателю герцога бургундскаго въ царствованіе Людовика XIV, Ломоносовъ былъ обязанъ своимъ первымъ поэтическимъ вдохновеніемъ. Переводъ его оды „На уединеніе“, сдѣланный Ломоносовымъ четырехстопными хореями, былъ посланъ имъ въ Академію 15 октября 1738 года изъ Марбурга, вмѣстѣ съ латинскимъ разсужденіемъ по физикѣ, какъ образецъ знакомства съ языкомъ французскимъ и упражненія въ русскомъ, согласно инструкціи. Ода эта, съ своими тяжелыми оборотами и необработаннымъ языкомъ, хотя въ правописаніи и сохраняющимъ живой народный выговоръ словъ, имѣетъ только историческое значеніе. Она нисколько не лучше современныхъ виршей Тредіаковскаго, но любопытна въ томъ отношеніи, что показываетъ, какъ далеко шагнулъ въ поэзіи Ломоносовъ черезъ годъ. Ломоносову суждено было сдѣлаться извѣстнымъ своимъ соотечественникамъ одами. *Лавровскій.*

Вліяніе Вольфа на Ломоносова.

Въ періодъ съ 1723 по 1740 годъ свѣтъ и блескъ Марбургскому университету, говоритъ его историкъ, давалъ философъ Вольфъ своими лекціями и сочиненіями и своею повсюду распространенною славою. Поэтому мы съ особенною подробностью должны говорить о Вольфѣ, тѣмъ болѣе что вліяніе

его на Ломоносова несравненно замѣтнѣе вліянія всѣхъ другихъ профессоровъ того времени.

Жизнь Вольфа чрезвычайно любопытна въ томъ отношеніи, что знакомитъ со многими сторонами современнаго ему общественнаго быта. Онъ былъ представителемъ науки въ восемнадцатомъ вѣкѣ, и въ судьбѣ его, въ преслѣдованіяхъ, испытанныхъ имъ, и въ его громадныхъ успѣхахъ выражается настроеніе тогдашняго общества и опредѣляется мѣсто, принадлежавшее ученому въ средѣ общественныхъ дѣятелей. Вольфъ родился въ 1679 г. въ силезскомъ городѣ Бреславлѣ. Отецъ его, человѣкъ въ высшей степени любознательный, сильно желалъ учиться въ университетѣ, но неопреодолимыя препятствія заставили его отказаться отъ завѣтнаго желанія, и вмѣсто ученаго онъ сдѣлался кожевникомъ; впрочемъ, уваженіе къ наукѣ въ немъ не поколебалось, и онъ далъ обѣтъ посвятить сына своего ученому поприщу. Первенцемъ любознательнаго кожевника былъ Христіанъ Вольфъ, обреченный наукѣ еще до рожденія. Послѣдующія занятія юноши доказали, что желаніе отца вполнѣ совпадало съ призваніемъ даровитаго сына. Самая среда, въ которой Вольфъ провелъ свое дѣтство и первые года юности, благопріятствовала его развитію. Ни въ школѣ ни въ жизни не было на ту пору безцвѣтнаго однообразія и подавляющаго авторитета; и въ школѣ и внѣ ея слышалось разногласіе мнѣній: они высказывались съ большимъ жаромъ, потому что относились къ самому живому и новому явленію тогдашней жизни. Въ то время въ Силезіи были въ самомъ разгарѣ религіозные споры: іезуиты враждовали съ лютеранами и всячески старались навербовать какъ можно болѣе приверженцевъ; противная сторона, настойчиво доказывая справедливость своихъ мнѣній, также старалась во что бы то ни стало удержать своихъ за собою. Ученику Вольфу не разъ приходилось мѣряться силами своихъ познаній и діалектики съ питомцами іезуитскихъ училищъ. Въ гимназіи бреславской Вольфу предстоялъ также выборъ между различными направленіями. Одинъ изъ даровитѣйшихъ преподавателей, увлекая слушателей блестящимъ изложеніемъ словесности и дѣйствуя на развитіе ихъ вкуса, постоянно издѣвался надъ философскими теоріями, считая ихъ наборомъ словъ и переливаніемъ изъ пустого въ порожнее, и занятіе философіей называлъ безполезнѣйшею тратою времени. Другіе пре-

подаватели были ревностными защитниками философіи, восхваляя ее не только на лекціяхъ, но даже и въ проповѣдяхъ. При такомъ противорѣчіи людей, равно уважаемыхъ, молодой Вольфъ долженъ былъ глубже вникнуть въ сущность вопроса и самостоятельно рѣшить его; слѣдствіемъ его внутренней работы были два убѣжденія, рѣшительно имъ овладѣвшія. Во-первыхъ, онъ призналъ законность и необходимость философіи, въ которой всего заманчивѣе для его пытливаго ума было то, что она, какъ утверждали ея защитники, ведетъ къ открытію новыхъ, сокровенныхъ истинъ. Рѣзкія нападки на философію Вольфъ объяснилъ себѣ тѣмъ, что настоящее состояніе этой науки далеко не соотвѣтствуетъ ея великому назначенію: поэтому онъ съ жаромъ принялся за чтеніе различныхъ философскихъ сочиненій, надѣясь этимъ путемъ вѣрнѣе и скорѣе добраться до истины. Второе убѣжденіе, сдѣлавшееся впослѣдствіи девизомъ всей ученой дѣятельности Вольфа, состояло въ томъ, что всякая наука должна образовать систему подобно математикѣ, и математическая метода должна быть соблюдаема во всѣхъ наукахъ; одна только математическая метода вноситъ ясность во всѣ изслѣдованія, даетъ опору колеблющемуся мышленію, разсѣиваетъ призраки фантазіи и хитросплетенія діалектики. Блестящій подвигъ предстоялъ мыслителю, вооруженному знаніемъ математики и философіи, подвигъ привести человѣка къ сознанію того, почему онъ вѣритъ, во что онъ вѣритъ, и какимъ образомъ идеи свои проявлять въ самыхъ дѣйствіяхъ. Съ широко задуманною цѣлью Вольфъ началъ свое университетское поприще. Изъ бреславской гимназіи онъ поступилъ въ Іенскій университетъ студентомъ, а чрезъ три года получилъ степень магистра въ Лейпцигскомъ университетѣ; въ Лейпцигѣ онъ началъ читать математику. Сочиненіе его о математической методѣ въ философіи заслужило лестный отзывъ самого Лейбница, приславшаго молодому автору привѣтствіе и совѣтъ продолжать такъ счастливо начатыя занятія. Въ Лейпцигѣ Вольфъ оставался недолго; при содѣйствіи Лейбница онъ получилъ каѳедру въ Галле, и читалъ въ тамошнемъ университетѣ математику, физику, метафизику, логику и нравственную философію. Добросовѣстность въ ученыхъ работахъ, изумительное трудолюбіе, новость взглядовъ, живое изложеніе предмета, вызывающее слушателей на самостоятельный трудъ, — всѣ эти

достоинства сдѣлали Вольфа кумиромъ молодежи, доставили ему безчисленное множество слушателей и почитателей. Блестящій успѣхъ профессора былъ очень не по вкусу его товарищамъ, аудиторіи которыхъ пустѣли все болѣе и болѣе. Между его недоброжелателями были люди характера твердаго и рѣшительнаго, не терпѣвшіе противорѣчія и привыкшіе къ первой роли во всѣхъ университетскихъ совѣщаніяхъ и предпріятіяхъ; такимъ людямъ было невыносимо видѣть возрастаніе славы Вольфа на счетъ ихъ собственной извѣстности, и они рѣшились, во что бы то ни стало, возобновить свое прежнее вліяніе и избавиться отъ опаснаго соперника. Противъ него составился заговоръ, и ждали перваго случая, чтобъ отомстить ему за ущербы, понесенные отъ его лекцій. Случай скоро представился. Вольфъ избралъ предметомъ для своей академической рѣчи нравственную философію китайцевъ. Подобный предметъ былъ для того времени вполнѣ современнымъ: извѣстно, что въ восемнадцатомъ столѣтіи, въ теченіе нѣкотораго времени, умы европейцевъ были въ высшей степени заинтересованы Китаемъ; разсказы миссіонеровъ о нравахъ и образѣ жизни китайцевъ возбудили въ образованномъ обществѣ сильное вниманіе къ оригинальному народу. Въ рѣчи своей Вольфъ говорилъ объ ученіи Конфуція и хорошо отозвался о многихъ мысляхъ китайскаго моралиста. Эти похвалы встревожили піетистовъ въ Галлѣ; ихъ ужаснуло, что христіанскій писатель хвалитъ языческую нравственность и находитъ въ ней много общаго съ своими собственными убѣжденіями: хороша же, говорили они, мораль этого философа, когда она согласна съ „лжеученіемъ богомерзскаго язычника!“ Но ихъ витіеватыя жалобы, несмотря на свой „чистѣйшій лютеранскій духъ“, не возбуждали сочувствія, и общественное мнѣніе рѣшительно приняло сторону Вольфа. Оскорбленные противники дѣйствовали всѣми возможными способами, отъ пасквиля до доноса; въ одномъ памфлетѣ говорится, что три W виною всему злу: Weib, Wein, Wolf — женщины, вино и Вольфъ; приверженцы Вольфа отвѣчали, что, напротивъ три W распространяютъ все доброе, а именно Wahrheit, Weisheit, Wolf—истина, мудрость и Вольфъ. Стихи, впрочемъ, были слишкомъ невиннымъ орудіемъ и не могли достигнуть цѣли; нужно было обратиться къ средствамъ болѣе дѣйствительнымъ, рѣшено было очернить Вольфа передъ пра-

вительствомъ. Прусскимъ королемъ былъ въ то время Фридрихъ I. При его полнѣйшемъ невѣжествѣ трудно было обратить королевское вниманіе на философскіе вопросы. Самъ Фридрихъ былъ человѣкъ безграмотный и терпѣть не могъ людей, занимающихся наукой и искусствомъ; заставши однажды сына своего за музыкальнымъ урокомъ, онъ выбранилъ „дармоѣда“ и разбилъ вдребезги его скрипку. Онъ издѣвался надъ Академіей наукъ, учрежденною отцомъ его въ Берлинѣ; обращеніе его съ учеными и литераторами отзывалось грубостью вѣка и личнымъ пренебреженіемъ къ умственному труду. Піетисты, зная слабости человѣческія, истощали всѣ усилія, чтобы задѣть Фридриха за живое, подѣйствовать на его слабую сторону, на его сердечную наклонность и тѣмъ вызвать съ его стороны энергическую мѣру. Но, къ ихъ большому горю, онъ былъ человѣкъ безстрастный. Впрочемъ, при всей его холодности, у него была страсть, для удовлетворенія которой онъ готовъ былъ на жертвы, это — страсть къ великорослымъ солдатамъ. Онъ составилъ цѣлый полкъ великановъ и не щадилъ для него никакихъ издержекъ; будучи скупъ до того, что къ новому платью пришивалъ пуговицы отъ стараго, поношеннаго, онъ платилъ большія деньги за высокихъ солдатъ. Онъ завелъ открытую торговлю великанами, захватывалъ путешественниковъ высокаго роста, студентовъ, италіанскихъ дворянъ и польскихъ ксензовъ, и вербовалъ иностранныхъ солдатъ; на покупку людей для любимаго полка потрачено болѣе двѣнадцати милліоновъ талеровъ. Петръ I постоянно снабжалъ Фридриха рослыми солдатами, и взамѣнъ получалъ отъ него инженеровъ и фабрикантовъ, которыхъ приводили въ Россію какъ колодниковъ. Эта страсть къ великанамъ, по довольно оригинальному сплетенію обстоятельствъ, была причиной изгнанія Вольфа, и вотъ какимъ образомъ. Вольфъ признавалъ гармонію между душой и тѣломъ. Душа, говоритъ Вольфъ, имѣетъ свою собственную силу, отъ которой зависятъ всѣ явленія, всѣ перемѣны въ духовной жизни человѣка; въ тѣлѣ также всѣ перемѣны зависятъ отъ его природы, вытекаютъ изъ его существа, ощущенія и желанія души совпадаютъ съ измѣненіями и движеніями тѣла. Это совпаденіе Вольфъ называетъ, по примѣру Лейбница, предустановленною гармоніей. Лейбницъ признавалъ, что существующій міръ избранъ Творцомъ, какъ наилучшій, изъ безчисленнаго мно-

жества міровъ, бывшихъ въ божественной мысли; вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобъ быть послѣдовательнымъ, Лейбницъ утверждалъ, что и законъ, по которому существуетъ міръ, установленъ Творцомъ прежде созданія самаго міра. Этотъ міродержавный законъ состоитъ во взаимной связи или гармоніи явленій, которую Лейбницъ и назвалъ предопредѣленною, предустановленною Творцомъ гармоніей, prästabilirte Harmonie. Враги Вольфа видѣли въ предустановленной гармоніи фатализмъ и старались убѣдить въ этомъ и другихъ, особенно короля. Но король былъ слишкомъ равнодушенъ ко всѣмъ безъ исключенія философскимъ вопросамъ, называя ихъ безполезною болтовнею, и попытки заинтересовать его полемикой галльскихъ теологовъ оказались напрасными. Тогда придумали самый рѣшительный способъ подѣйствовать на короля, коснувшись его завѣтной страсти. Въ Галле пріѣхали на ту пору два генерала, и имъ было объяснено, насколько могли понять ихъ головы, какой вредъ философія Вольфа можетъ причинить арміи. Вольфъ, говорили піетисты, допускаетъ предопредѣленіе, учитъ, что все, что̀ ни дѣлается на свѣтѣ, необходимо должно дѣлаться: что же, еслѝ подобныя мысли распространятся между солдатами-великанами? Вѣдь они разбѣгутся на томъ основаніи, что если имъ пришла охота и есть возможность бѣжать, то значитъ они предопредѣлены къ побѣгамъ, наказывать бѣглыхъ отнюдь не слѣдуетъ, потому что они бѣжали по волѣ рока. Такое примѣненіе встревожило „скорбныхъ главой“ генераловъ, и они сочли долгомъ заявить о предстоящей опасности. Показанія генераловъ были подтверждены придворнымъ шутомъ; король испугался не на шутку и велѣлъ Вольфу выѣхать въ теченіе сорока-восьми часовъ изъ Галле и изъ предѣловъ Пруссіи подъ страхомъ висѣлицы; вслѣдъ за тѣмъ строго запрещено преподавателямъ руководствоваться сочиненіями изгнаннаго профессора. Піетисты съ колѣнопреклоненіемъ благодарили Бога за избавленіе отъ врага и говорили рѣчи, въ которыхъ осыпали изгнанника жестокими укоризнами. Несмотря на всѣ преслѣдованія и строгость приговора прусскаго правительства, Вольфъ не затруднялся отыскиваніемъ убѣжища; онъ получилъ нѣсколько приглашеній и, между прочимъ, изъ Россіи; переговоры съ Петербургомъ возобновлялись довольно часто. Поводъ къ нимъ былъ слѣдующій. Въ Европѣ распространился слухъ объ от-

крытіи perpetuum mobile; молва объ этомъ дошла до Петра Великаго, и онъ желалъ получить точныя свѣдѣнія объ открытіи, сильно заинтересовавшемъ его. Такъ какъ мнимый изобрѣтатель ссылался на Вольфа, видѣвшаго диковинную машину, то лейбъ-медикъ Петра, Блументростъ, вошелъ въ переписку съ Вольфомъ, вызывая его содѣйствовать усовершенствованію важнаго открытія и предлагая ему отъ имени царя вступить въ русскую службу. Подобныя предложенія повторялись въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ; Вольфъ медлилъ рѣшительнымъ отвѣтомъ и, наконецъ, навсегда отказался отъ лестнаго предложенія переселиться въ Петербургъ съ званіемъ вице-президента Петербургской академіи наукъ. Много причинъ побуждало Вольфа остаться въ Германіи. Съ одной стороны, отъѣздъ его въ Россію былъ бы торжествомъ для его враговъ, доказательствомъ ихъ побѣды, съ другой — преобразованія Петра казались въ Европѣ такою неожиданностью, что многіе сомнѣвались въ прочности задуманнаго Петромъ, боясь, что благое сѣмя заглохнетъ въ непроизводительной почвѣ. Притомъ и матеріальная сторона жизни въ Германіи представляла много удобствъ: по словамъ Ломоносова, Вольфъ лекціями и подарками нажилъ больше полумилліона и сверхъ того баронство.

Изгнаніе Вольфа произвело сильное впечатлѣніе въ Германіи; университеты и владѣтельныя особы соперничали въ изъявленіи своего сочувствія къ знаменитому изгнаннику. Изъ многихъ предложеній Вольфъ принялъ сдѣланное ему ландграфомъ гессенъ-кассельскимъ и переселился въ Марбургъ, гдѣ и былъ профессоромъ университета въ теченіе семнадцати лѣтъ. Въ эти семнадцать лѣтъ измѣнилось расположеніе умовъ въ самой Пруссіи, даже въ придворномъ кругу. Фридрихъ I назначилъ комиссію для разсмотрѣнія сочиненій Вольфа и удостовѣрился, что въ нихъ нѣтъ ничего опаснаго, и что авторъ былъ жертвой интригъ и клеветы. Фридрихъ даже пытался снова перезвать его къ себѣ. Разговаривая съ графомъ Мантейфелемъ, король сказалъ: „Вольфъ посвятилъ мнѣ огромную латинскую книгу, я въ ней ровно ничего не смыслю, а все-таки слѣдуетъ благодарить; я предлагаю ему вступить въ мою службу, и самому назначить условія“. Мантейфель утѣшалъ короля тѣмъ, что и другимъ верховнымъ особамъ посвящаются книги, которыхъ они вовсе не понимаютъ: при-

томъ же предисловіе переведено на нѣмецкій языкъ. Предисловіе очень понравилось королю, въ которомъ съ недавняго времени стали замѣчать неожиданную перемѣну. Онъ сталъ благосклонно отзываться о философскихъ сочиненіяхъ, и въ немъ обнаруживалась охота къ чтенію, которая до того была въ разладѣ съ его обыкновеннымъ образомъ мыслей, что въ ней видѣли зловѣщій знакъ — приближеніе смерти. Когда она послѣдовала, Вольфъ принялъ приглашеніе новаго короля, давно уже выражавшаго свое сочувствіе философу-изгнаннику. Еще будучи наслѣднымъ принцемъ, Фридрихъ II желалъ совершить путешествіе въ сопровожденіи своего „великаго учителя Вольфа“.

Возвращеніе Вольфа въ Галле было въ полномъ смыслѣ слова общимъ праздникомъ для тамошнихъ жителей. За милю до города ожидала торжественная колесница; у городскихъ воротъ, на улицахъ и на площадяхъ, собрались толпы народа, и Вольфъ въѣхалъ въ городъ при звукахъ трубъ и литавръ, и при радостныхъ кликахъ жителей. Въ Галле Вольфъ оставался до самой смерти своей, послѣдовавшей въ 1754 голу на семьдесятъ-шестомъ году его жизни.

Въ теченіе этой долговременной жизни самымъ лучшимъ временемъ для Вольфа было то, которое онъ провелъ въ Марбургѣ, то-есть съ 1723 по 1740 годъ. Въ первое пребываніе въ Галле онъ только начиналъ свою дѣятельность и пріобрѣталъ извѣстность; по возвращеніи въ Галле, онъ уже утратилъ прежнюю энергію и вліяніе на молодежь: у него была тогда цѣлая школа, ученики распространили всюду его ученіе, а для молодыхъ поколѣній лекціи его не имѣли уже привлекательной новизны. Въ Марбургѣ же онъ былъ въ самый счастливый періодъ своей дѣятельности; имя его стало извѣстно во всей Европѣ, и отовсюду стекались слушатели, привлекаемые молвой о „міровомъ мудрецѣ“, какъ называли Вольфа въ XVIII столѣтіи. По желанію одного изъ философскихъ обществъ, выбита была медаль съ изображеніемъ Минервы, Лейбница и Вольфа; Лейбницъ и Вольфъ увѣнчаны лавровымъ вѣнкомъ и окружены многозначительною надписью: sapere aude! Вольфъ былъ оракуломъ и для читателей своихъ и для слушателей; лекціи его записывались съ буквальною точностью; слушатели боялись проронить не только слово, но даже движеніе, сопровождавшее его рѣчь; въ тетради

одного изъ слушателей отмѣчено: здѣсь засмѣялся господинъ совѣтникъ.

Въ тѣ семестры, когда Ломоносовъ былъ студентомъ Марбургскаго университета, Вольфъ читалъ весьма много предметовъ, а именно: всеобщую математику, алгебру, астрономію, физику, оптику, механику, военную и гражданскую архитектуру, логику, метафизику, нравственную философію, политику, естественное право, народное право, географію и хронологію, и объяснялъ сочиненіе Гуго Гроція о правѣ войны и мира.

Ломоносовъ сохранилъ навсегда благодарное воспоминаніе о своемъ наставникѣ, называя его „славнѣйшимъ въ нынѣшнемъ вѣкѣ авторомъ“; *Опытная физика* Вольфа переведена на русскій языкъ Ломоносовымъ. Высоко цѣнимая въ восемнадцатомъ вѣкѣ, философія Вольфа потеряла кредитъ свой въ девятнадцатомъ; о ней или совершенно забывали, или если и вспоминали, то клеймили названіемъ ограниченной, самодовольной, безжизненной, безплодной и т. п. Но въ новое время она нашла энергическаго защитника; обращаясь къ порицателямъ ея, Фейербахъ говоритъ: „Вы, съ презрѣніемъ произносящіе имя Вольфа, можете ли вы похвалиться его основательнымъ, всеобъемлющимъ знаніемъ, его чистою, неистощимою любовью къ наукѣ и истинѣ, его самоотверженіемъ, съ которымъ онъ нисходилъ до жалкаго уровня своихъ современниковъ, чтобы внести лучъ свѣта въ тяжелыя головы нѣмцевъ? Счастье было бы для нѣмецкаго народа, если бы среди него явился новый Вольфъ!“

При общемъ сочувствіи къ Вольфу его многочисленныхъ учениковъ, при его сильномъ вліяніи на нихъ, нельзя предполагать, чтобы всѣ курсы и бесѣды его остались безплодными для одного изъ даровитѣйшихъ слушателей, по признанію самого профессора, — на Ломоносова. Одна изъ самыхъ трудныхъ задачъ литературной критики состоитъ въ опредѣленіи различныхъ вліяній на писателя; нити, связывающія одного дѣятеля съ другимъ, иногда бываютъ чрезвычайно тонки, почти неуловимы. Чтобъ указать отношеніе Ломоносова къ Вольфу, мы изберемъ тѣ черты ихъ дѣятельности, въ которыхъ всего виднѣе особенности того и другого.

Не обладая творческимъ талантомъ, Вольфъ былъ ревностнымъ истолкователемъ геніальныхъ мыслей Лейбница и далъ имъ видъ строгой системы. Метода его, названная, по

ея строгости, математическою, состоитъ въ послѣдовательномъ объясненіи каждаго слова; твердо держась однажды даннаго опредѣленія, онъ ни одного положенія не оставляетъ безъ доказательства и всѣ теоремы представляетъ въ связи, выводя одну изъ другой. Философскія сочиненія Вольфа состоятъ изъ ряда теоремъ или силлогизмовъ съ двумя посылками и заключеніемъ, причемъ каждое заключеніе становится посылкой въ новомъ силлогизмѣ. Метода составляетъ отличительную черту философіи Вольфа, и Ломоносовъ признавалъ ея достоинство, независимо отъ содержанія сочиненій, въ которыхъ она проведена со всею строгостью. Во второмъ изданіи переведенной имъ физики Вольфа Ломоносовъ говоритъ, что хотя со времени ея появленія наука сдѣлала большіе успѣхи, и читатели не найдутъ въ его книгѣ многаго, что давно уже извѣстно въ ученомъ мірѣ, однако „славный авторъ всегда пребудетъ достоинъ чтенія, особливо ради внятнаго и порядочнаго образа мыслей“. Вліяніе Вольфа всего яснѣе выразилось въ сочиненіи Ломоносова: *О движеніи воздуха въ рудникахъ*. Вообще же, по замѣчанію спеціалистовъ, нѣмецкіе ученые менѣе имѣли вліяніе на Ломоносова, нежели французскіе: умъ его не могъ подчиниться тѣмъ формальностямъ, которыми изобилуютъ сочиненія нѣмецкихъ ученыхъ и особенно Вольфа. При всемъ уваженіи къ методѣ Вольфа, Ломоносовъ не могъ подчиниться ей: живой и впечатлительный умъ его не укладывался въ форму силлогизма, и въ его ученыхъ трактахъ много поэтическихъ отступленій.

По существенному, внутреннему свойству своего философскаго воззрѣнія, Вольфъ находился на рубежѣ двухъ враждебныхъ направленій. Одно, завѣщанное рядомъ предшествующихъ вѣковъ и державшееся силой преданія, признавало непогрѣшительность авторитета; другое заключалось въ протестѣ противъ старины, въ признаніи правъ разума и свободы изслѣдованія. Не разрывая съ преданіемъ, идущимъ со времени реформаціи, Вольфъ независимо относился къ вопросамъ, считавшимся неприкосновенными для людей, защищавшихъ точку зрѣнія положительной религіи. Идеи его о вселенной и объ основаніяхъ нравственности совпадаютъ, по его собственному признанію, съ ученіемъ Христа и апостоловъ; онъ стремился даже, посредствомъ

математической методы, доказать съ неопровержимою убѣдительностію истины, открываемыя христіанствомъ...

Признавая волю Божію источникомъ всего существующаго, Вольфъ говоритъ, что не на ней собственно должны основываться доказательства. Ключъ къ объясненію всего существующаго находится въ *законѣ достаточнаго основанія* или причины (raison), составляющемъ рычагъ всей философской системы Вольфа. „Невозможно, говоритъ онъ, чтобъ изъ ничего произошло что-либо; поэтому все, что ни есть въ природѣ, должно имѣть достаточную причину, почему оно есть. Всѣ предметы находятся во взаимной связи и одинъ служитъ причиною существованія другого. Въ солнцѣ причина того, что земля стала землею; то-есть посредствомъ солнечной теплоты земля стала плодоносна и удобна для разселенія по ней рода человѣческаго и т. п. Воля Божія есть высшая причина существованія всѣхъ вещей; но на нее можно ссылаться только тогда, когда спрашиваютъ, почему что-либо существуетъ, а отнюдь не тогда, когда желаютъ знать, какимъ образомъ то или другое возможно. Въ математикѣ, особенно въ геометріи, множество основательнѣйшихъ доказательствъ; но ни одно изъ нихъ не основывается на волѣ Божіей; такимъ образомъ, на вопросъ: отчего въ прямолинейномъ треугольникѣ три угла равняются двумъ прямымъ, не отвѣчаютъ: такъ Богу угодно. Или, если въ физикѣ спрашиваютъ, отъ чего гремитъ громъ, то это значитъ, какія естественныя причины производятъ грозу, и только тотъ, кто не заботится о ближайшихъ причинахъ, можетъ сказать, что грозу посылаетъ Богъ, потому что воля Бога движетъ силами природы. Вѣрнѣйшій путь къ примиренію науки съ вѣрою Вольфъ видитъ въ изученіи природы. „Если бы, говоритъ онъ, глубже изучили физику и естественныя науки, то увидѣли бы, что въ каждомъ твореніи, какъ бы оно ничтожно ни было, сокрыто многое для познанія Творца: и вмѣсто того, чтобы преслѣдовать науку, надо обращать ее во славу Бога, и, по совѣту одного просвѣщеннаго теолога, вмѣстѣ съ Библіей изучать книгу природы и познавать небо не только внутри, но и съ наружи“.

Подобно Вольфу, Ломоносовъ находился въ средѣ, гдѣ царило преданіе и всякая попытка къ свободѣ мысли возбуждала негодованіе многихъ. Ломоносовъ не отвергалъ хри-

стіанскихъ истинъ; онѣ были для него святыней; въ произведеніи, гдѣ онъ довольно свободно относился къ преданію, въ *Посланіи о пользѣ стекла*, онъ говоритъ:

О коль велика къ намъ щедротъ Его пучина,
Что на землю послалъ возлюбленнаго Сына:
Не погнушался Онъ на малый шаръ сойти,
Чтобы погибшаго страданіемъ спасти.

Но свято уважая основы христіанства, Ломоносовъ признавалъ и права разума, и съ точки зрѣнія мыслителя смотрѣлъ на предметы, о которыхъ его предшественники и современники хранили благовѣйное молчаніе. Ломоносовъ высказалъ свой взглядъ на посты, какъ на явленіе историческое, связанное съ условіями мѣстности и климата.

Религіозный вопросъ имѣетъ чрезвычайно важное значеніе въ развитіи общества и народа; въ системѣ религіи всего рѣшительнѣе высказывается авторитетъ, и потому свободная постановка какого-либо изъ вопросовъ въ ея области служитъ уже доказательствомъ большей или меньшей независимости мысли. По понятіямъ, господствовавшимъ у насъ до Ломоносова, лучшимъ достоинствомъ человѣка считалась не смѣлость мысли, а смиреніе, и въ отважномъ полетѣ ея видѣли грѣховное посягательство на права единаго Всевѣдущаго. Одинъ изъ писателей, высокоцѣнимыхъ старинными нашими книжниками, говоритъ: „Что повелѣно тебѣ, о томъ размышляй, а что сокрыто, того не изслѣдуй; о, если бы кто держалъ бичъ надъ моими мыслями!“ И находились люди, которые держали бичи надъ мыслями въ своихъ рукахъ. Понимая вещи по своему, піетисты искали таинственнаго смысла во всѣхъ явленіяхъ, и для доказательства любимой темы сближали вещи, не имѣющія между собою общаго. На естественныя причины или вовсе не обращали вниманія, или отзывались о нихъ съ пренебреженіемъ, называя ихъ слѣпымъ случаемъ; истинную же причину видѣли не въ нихъ. „Не случайно произошло это, а съ таинственною цѣлью“, и т. д.—вотъ обычное въ то время объясненіе событій. Даже Ѳеофанъ Прокоповичъ, обвиняемый въ свободомысліи, говоря о русскомъ флотѣ, доказываетъ, что Петръ не случайно увидѣлъ ботикъ, какъ не случайно у персидскаго царя, осудившаго на казнь невиннаго, сдѣлалась безсонница и т. д. На общемъ, безразличномъ объясне-

ніи всего посредствомъ *непостижимыхъ* путей Промысла, безъ изслѣдованія причинъ ближайшихъ, остановились неглубокіе люди, и съ труднѣйшими вопросами науки и жизни порѣшили коротко, хотя и не ясно: „чему быть, тому не миновать“, или еще смиреннѣе: „это не нашего ума дѣло“. При подобномъ взглядѣ, философскій *законъ достаточнаго основанія*, возведенный въ принципъ Лейбницемъ и Вольфомъ, былъ для тогдашняго русскаго общества смѣлою новостью, и за постоянное обращеніе къ логическому закону Ломоносовъ подвергался укорамъ и даже преслѣдованіямъ. Этотъ законъ получаетъ новый, жизненный смыслъ въ воззрѣніи Ломоносова, искавшаго разгадки непостижимыхъ вещей въ творческой силѣ природы. Въ сочиненіяхъ своихъ, гдѣ рѣчь идетъ о силахъ природы, онъ считаетъ нужнымъ успокоивать умы слушателей и читателей, готовыхъ обвинять его въ посягательствѣ на вѣру и чуть не въ атеизмѣ. Всего нагляднѣе обнаруживается тогдашнее настроеніе во взглядѣ на электрическіе опыты: объясненіе грома и молніи посредствомъ электричества и употребленіе громоотводовъ считали „продерзостнымъ сопротивленіемъ гнѣву Божію; Ломоносовъ подробно доказываетъ, что защищаться отъ громовыхъ ударовъ такъ же безгрѣшно, какъ и строить прочныя зданія для защиты отъ бурь, или дѣлать плотины для защиты отъ наводненій. Говоря о прохожденіи Венеры черезъ солнце, онъ доказываетъ, что изученіе астрономіи нисколько не подрываетъ религіи, какъ полагали многіе изъ его современниковъ.

Не отрицая воли Божіей, правящей міромъ, Ломоносовъ считалъ необходимымъ объясненіе естественныхъ явленій посредствомъ закона достаточнаго основанія — дѣйствіемъ силъ природы. Не только по мыслямъ, но и по формѣ ихъ, Ломоносовъ напоминаетъ Вольфа, превосходя его энергіей выраженія. Весьма любопытно въ этомъ отношеніи *Посланіе о пользѣ стекла*, выражающее новый для того времени взглядъ на отношеніе человѣка къ природѣ. Стихотворная форма выбрана по тогдашнему литературному обычаю, а можетъ быть и по примѣру поэмы Лукреція de rerum natura, въ которой говорится стихами о естественныхъ явленіяхъ, подлежащихъ наблюденію натуралиста. Ломоносовъ говоритъ о „слабомъ умѣ“:

Дабы столковать, что молнія и громъ —
Такія мысли всѣ считаетъ онъ грѣхомъ:

На бичъ, онъ говоритъ, я посмотрѣть не смѣю,
Когда грозитъ Отецъ намъ яростью своею.
Но какъ Онъ насъ казнитъ, поднявъ въ пучинѣ валъ,
То грѣхъ ли то сказать, что вѣтромъ Онъ нагналъ?
Когда въ Египтѣ хлѣбъ довольный не родился,
То грѣхъ ли то сказать, что Нилъ тамъ не разлился?

Какъ Вольфъ признавалъ истиннымъ только то откровеніе, которое въ ладу съ законами природы, такъ и для Ломоносова права природы священны, и всякое уклоненіе отъ нихъ онъ почиталъ несообразнымъ съ волей Божіей, хотя бы оно и утверждено было преданіемъ. Онъ называетъ смѣшною неосторожностью то, что противно природѣ человѣка, но вошло въ обычай подъ вліяніемъ авторитета.

Какъ въ западной Европѣ, гдѣ долгое время занятіе физикой считалось грѣховнымъ, Альбертъ Великій и Роджеръ Беконъ дерзнули „очистить природу отъ грѣха“, такъ въ Россіи Ломоносовъ энергически возставалъ противъ обвиненій въ грѣховности науки о природѣ и утверждалъ, что „испытаніе природы трудно, однако полезно, *свято*“. Раздѣляя съ Вольфомъ благоговѣніе къ природѣ, Ломоносовъ отличался отъ него поэтическимъ воззрѣніемъ на космосъ. Вольфъ былъ холоднымъ систематикомъ, и права природы доказывалъ математическими теоремами, Ломоносовъ чувствовалъ ихъ всѣмъ существомъ своимъ. Его душа понимала поэзію природы, и если природа не была къ нему мачехой, то и онъ съ своей стороны не былъ къ ней пасынкомъ; она давала художническому чувству его высокое наслажденіе и служила для разума неисчерпаемымъ источникомъ познанія. Для полноты знанія Вольфъ считалъ необходимымъ изучать священное Писаніе и книгу природы; Ломоносовъ говоритъ: „Создатель далъ роду человѣческому двѣ книги: въ одной показалъ свое величество, въ другой — свою волю; первая — видимый сей міръ, вторая — священное Писаніе“. Въ священномъ Писаніи онъ живо сочувствовалъ изображеніямъ величія и красоты природы, какъ можно судить по его переложеніямъ, выбраннымъ изъ тѣхъ библейскихъ книгъ, которыя всего болѣе проникнуты чувствомъ природы, какъ напр. изъ книги Іова и псалмовъ. Ломоносовымъ переложенъ и сто третій псаломъ, изображающій картину цѣлаго космоса: „Должно дивиться, говоритъ Гумбольдтъ, какъ въ такомъ незначительномъ по своему

объему лирическомъ произведеніи немногими великими чертами изображена вселенная, и небо, и земля! Подвижной, стихійной жизни природы противопоставлена тихая, тяжкая работа человѣка отъ восхода солнечнаго до окончанія денного труда вечеромъ. Эта противоположность, этотъ всеобъемлющій взглядъ на взаимное отношеніе между явленіями, это обращеніе къ вездѣ присутствующей невидимой силѣ, которая можетъ обновить землю или разбить ее въ прахъ, придаютъ торжественность этой не столько кипящей жизнію, сколько возвышенной поэзіи". Чувство природы было жизненнымъ элементомъ въ произведеніяхъ писателей первыхъ вѣковъ христіанства. „Христіанское настроеніе сердца, замѣчаетъ Гумбольдъ въ своемъ *Космосѣ*, заставило доказывать величіе и благость Создателя на основаніи всемірнаго порядка и красоты природы; подобное направленіе мыслей къ прославленію Божества въ его твореніи возбудило вкусъ къ описаніямъ природы". Въ писаніяхъ отцовъ церкви Ломоносовъ высоко цѣнитъ сочувствіе къ природѣ и стремленіе сдружить познаніе ея съ вѣрой: „о, если бы въ ихъ время, говоритъ онъ, извѣстны были изобретенныя недавно астрономическія орудія и открыты тысячи новыхъ звѣздъ, съ какимъ бы восторгомъ проповѣдники истины возвѣстили о новыхъ свидѣтельствахъ величія, мудрости и могущества Творца! Въ этомъ сдруженіи науки съ вѣрой полагалъ свое призваніе Ломоносовъ; къ той же цѣли стремилась и философія Вольфа. Особенность Ломоносова въ постановкѣ вопроса объ отношеніяхъ естественныхъ причинъ къ сверхъестественнымъ можетъ быть опредѣлена слѣдующимъ образомъ. До него, по крайней мѣрѣ, въ понятіи большинства, наука была не болѣе какъ *служанкою*, и притомъ опасною, вѣры; Ломоносовъ признавалъ науку и вѣру *двумя родными сестрами*. Природа, говоритъ онъ, есть „евангеліе", благовѣствующее творческую силу, премудрость и величество; не только небеса, но и нѣдра земныя повѣдаютъ славу Божію".

Примиреніе науки съ вѣрой, или точнѣе, вѣры съ наукою было живою потребностью тогдашняго русскаго общества. Чтобы начать движеніе по пути умственнаго развитія, необходимо было уничтожить преграду, останавливающую умы въ самомъ началѣ ихъ дѣятельности, и довести ихъ до сознанія, что новый путь велъ къ истинѣ, а не къ пагубѣ. Большин-

ство нуждалось въ ободряющемъ голосѣ, и Ломоносовъ угадалъ эту потребность общества, какъ вѣрно угадывалъ и всѣ другія его нужды. Сочувствіе къ интересамъ общественнымъ есть одна изъ самыхъ свѣтлыхъ сторонъ дѣятельности Ломоносова. Въ этомъ онъ также сближается съ Вольфомъ. Съ именемъ Вольфа связано воспоминаніе о замѣчательной въ исторіи нѣмецкой литературы и образованности эпохѣ „просвѣщенія“ (Aufklärung). Задача такъ называемыхъ „просвѣтителей“ состояла въ освобожденіи личности человѣка въ умственномъ и нравственномъ отношеніи, въ свободѣ изслѣдованія и въ борьбѣ съ предразсудками и школьнымъ авторитетомъ. Содѣйствуя просвѣщенію своихъ соотечественниковъ, Вольфъ говорилъ и писалъ на родномъ языкѣ о важнѣйшихъ предметахъ человѣческой мысли, и первый ввелъ нѣмецкій языкъ въ область философіи, гдѣ до того владычествовалъ латинскій языкъ исключительно. До Вольфа философія была достояніемъ кружка; ею занимались немногіе спеціалисты; Вольфъ возбудилъ интересъ къ ней въ образованномъ мірѣ вообще; для содѣйствія занятіямъ философскими науками составились въ различныхъ мѣстахъ цѣлыя общества. Система самого Вольфа была излагаема въ самыхъ разнообразныхъ видахъ, отъ строгаго догматическаго трактата до легкаго популярнаго очерка; даже дамы принялись за изученіе философіи: девятнадцатилѣтняя дочь обитателя Шарлотенбурга, близъ Берлина, до того была восхищена системой Вольфа, что пожелала имѣть подробное ея изложеніе, которое и вышло въ свѣтъ подъ именемъ „прекрасной вольфіанки“ — la belle Wolfiene. Какова бы ни была степень таланта Вольфа, критики девятнадцатаго вѣка особенно цѣнятъ въ немъ „просвѣтителя“ тогдашней Германіи.

Ломоносовъ былъ также „просвѣтителемъ“ современнаго ему русскаго общества. Подвигъ его, какъ просвѣтителя, состоялъ въ отверженіи того, что̀ вело къ апатіи и застою, и въ общедоступномъ изложеніи того, въ чемъ видѣлъ онъ плодотворное, жизненное начало. Несравненно смѣлѣе Вольфа возставалъ онъ противъ авторитетовъ; по его мнѣнію, одною изъ главныхъ причинъ умственнаго застоя въ средніе вѣка была слѣпая вѣра въ Аристотеля: „я не презираю сего славнаго философа, говоритъ онъ, но тѣмъ не безъ сожалѣнія удивляюсь, которые про смертнаго человѣка думали, будто бы онъ въ своихъ мнѣніяхъ не имѣлъ никакого погрѣшенія, что

было главнымъ препятствіемъ къ приращенію философіи и прочихъ наукъ". Независимое отношеніе къ авторитетамъ нестерпимо для малодушія и скудоумія, и на Ломоносова сыпались нападки: „не великъ, говорили, передъ нимъ Картезій, Невтонъ и Лейбницъ со всѣми новыми ихъ изысканіями". Ломоносовъ былъ горячимъ защитникомъ прогресса, утверждалъ, что въ нынѣшнія времена науки достигли такого развитія, о которомъ и не мечтали люди, жившіе не только за тысячу, но и за сто лѣтъ; вѣра его въ прогрессъ доходила до энтузіазма, и онъ весьма неблагосклонно отзывался о добромъ старомъ времени. Защитники старины, въ свою очередь не оставались въ долгу передъ смѣлымъ обличителемъ, но бой былъ далеко не равный: на правдивый укоръ просвѣтителя отвѣчали клеветами и доносами. Въ шутливомъ гимнѣ Ломоносовъ обращается къ бородѣ съ воззваніемъ:

О прикраса золотая,
О прикраса дорогая,
Мать дородства и умовъ,
Мать достатка и чиновъ,
Корень дѣйствій невозможныхъ,
О *завѣса мнѣній ложныхъ!*

За такое обращеніе усердные защитники бороды и блюстители нравственности предлагали: „къ отвращенію таковыхъ продерзостей *удостоить* сего ругателя *публичнымъ наказаніемъ*". Дѣятельность русскаго просвѣтителя не ограничивалась энергическимъ отрицаніемъ: она стремилась къ положительной цѣли, открывала положительныя истины и вносила въ доступную ей среду ясныя и благородныя убѣжденія. Подобно Вольфу, Ломоносовъ не былъ спеціалистомъ, а стремился обнять всѣ отрасли знанія и проводить ихъ благотворное, цивилизующее вліяніе въ общество; даже въ спеціальныхъ изслѣдованіяхъ онъ имѣлъ въ виду не только передачу фактовъ, но и просвѣщеніе своихъ читателей и слушателей, и истины науки старался объяснить общедоступно. Справедливо замѣчаютъ, что призваніемъ Ломоносова было — провести результаты европейской науки черезъ складъ русскаго ума и сдѣлать ихъ составною частью нашей умственной атмосферы. Науку для пользы и просвѣщенія общества признавалъ онъ вопіющею потребностью.

На основаніи всего сказаннаго нами о Ломоносовѣ и Вольфѣ,

можно сдѣлать слѣдующій выводъ объ отношеніи одного къ другому. Вольфъ имѣлъ вліяніе на Ломоносова, но оно не было такъ глубоко, чтобы Ломоносова можно было назвать вольфіанцемъ: по самой природѣ своей, онъ былъ очень неподатливъ и не могъ быть безотвѣтнымъ органомъ чужого образца мыслей. Сходство и различіе между Ломоносовымъ и Вольфомъ обнаруживается въ методѣ, въ ихъ воззрѣніи и въ характерѣ ихъ дѣятельности. Строгость математической методы Вольфа справедливо цѣнилась Ломоносовымъ, но онъ самъ обращался къ ней рѣдко: въ мысляхъ его было такъ много жизни и свѣжести, что нельзя было заключать ихъ въ рамку теоремъ; когда дѣло идетъ о могуществѣ науки или творческой силѣ природы, прозаическая послѣдовательность доводовъ уступаетъ мѣсто лирическимъ отступленіямъ. Въ общемъ воззрѣніи на космосъ они сходятся. По ихъ убѣжденію, вѣчный порядокъ вселенной свидѣтельствуетъ о мудрости и о величіи Творца; но чтобы познать Его, необходимо изучать твореніе, и изучать безъ всякой задней мысли, вести изслѣдованіе вполнѣ свободно, не дѣлая изъ науки раба заранѣе составленной системы. Въ объясненіи всего существующаго долженъ быть строго наблюдаемъ неумолимый законъ достаточнаго основанія. Разумнаго основанія Ломоносовъ искалъ въ силахъ природы, и этимъ указывалъ новую точку зрѣнія, открывалъ путь свободному изслѣдованію, вносилъ въ мышленіе тотъ жизненный элементъ, которымъ европейская наука отличается отъ апатическаго ученія Востока. Чувство природы такъ сильно развито было въ Ломоносовѣ, что, защищая права ея, онъ изъ мыслителя переходилъ въ поэта и „слагалъ гимны матери-природѣ“. Поэтическое настроеніе было вовсе чуждо Вольфу; самому чувству изящнаго послѣдователи Вольфа давали мѣсто между низшими способностями души.

По характеру своей дѣятельности и Вольфъ и Ломоносовъ были просвѣтителями своего общества; трудъ просвѣтителя слагался изъ борьбы съ отживающею стариною и съ водвореніемъ новаго, созидающаго. Въ первомъ отношеніи Ломоносовъ расходится съ Вольфомъ: послѣдній находился подъ сильнымъ вліяніемъ Лейбница, такъ что и самая философія его называется обыкновенно лейбнице-вольфіанскою. Ломоносовъ, напротивъ, былъ слишкомъ независимъ, и не только

передъ Вольфомъ, но и передъ самимъ Аристотелемъ не желалъ быть покорнымъ ученикомъ, повторяющимъ: „такъ сказалъ учитель“. Вольфъ былъ однимъ изъ многихъ ревнителей просвѣщенія въ Германіи, Ломоносовъ однимъ изъ немногихъ въ Россіи и притомъ во главѣ этихъ немногихъ; въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ весь трудъ реформатора заключался собственно въ немъ одномъ. Наука была явленіемъ новымъ въ русскомъ обществѣ, и онъ ратовалъ за права ея со всѣмъ воодушевленіемъ и жаромъ новообращеннаго. „Наука должна быть полезна *обществу*“, въ этомъ убѣжденіи сходились между собою Вольфъ и Ломоносовъ, и оно даетъ имъ право на имя просвѣтителей современнаго имъ общества. По основному характеру своихъ стремленій, по складу своего ума и оригинальности дарованія, Ломоносовъ гораздо ближе къ Декарту, нежели къ Вольфу. Вліяніе Вольфа подѣйствовало на Ломоносова благотворно въ томъ отношеніи, что сдержало нѣсколько его порывы, сгладило неровности, пріучило къ системѣ и методѣ его живое и увлекающееся мышленіе. Не подчиняясь формальностямъ и педантизму, Ломоносовъ оцѣнилъ свѣтлую сторону философіи Вольфа и ея рѣшительное преимущество передъ схоластикой, господствовавшею тогда въ русскихъ училищахъ, въ которыхъ онъ получилъ первое понятіе о философскихъ наукахъ. *Сухомлиновъ.*

Ломоносовъ въ Фрейбургѣ и возвращеніе на родину.

Въ горномъ саксонскомъ городѣ Фрейбергѣ, куда, по назначенію, русскіе студенты прибыли изъ Марбурга черезъ пять дней, 28 іюля 1739 года, безъ гроша въ карманѣ, Ломоносова окружили иные люди и новая обстановка. Вмѣсто уважаемаго и славнаго учителя, судьба соединяетъ его теперь съ мелкою, грубою и вообще очень мало симпатичною личностію саксонскаго бергъ-физика Генкеля, у котораго студенты, согласно заключенному съ нимъ Академіей условію, должны были за 1000 рублей два года учиться металлургіи, находясь въ полной отъ него зависимости. Корфъ

предупреждалъ Генкеля, что молодые люди очень различныхъ качествъ, и по способностямъ и по прилежанію, но въ расточительности не уступятъ другъ другу. Ихъ ожидала трудная жизнь въ Фрейбергѣ, который не представлялъ съ другой стороны тойболѣе широкой умственной и научной атмосферы, какую всегда можно найти во всякомъ небольшомъ университетскомъ городѣ Германіи. Матеріальныя средства для жизни были чрезвычайно скудны. Вмѣсто получаемыхъ прежде 300 р. въ годъ, Ломоносовъ и его товарищи должны были довольствоваться половиною, и Академія, напуганная ихъ расточительностію и долгами въ Марбургѣ, въ своихъ письмахъ къ Генкелю и въ приказаніяхъ къ студентамъ, старалась еще ограничить ихъ ежедневныя издержки, требовала, напр., самаго дешеваго стола и не позволяла имѣть новаго платья. О прежнемъ широкомъ кредитѣ нечего было и думать. Генкеля просили давать въ полное распоряженіе студентовъ, на ихъ мелочные расходы, только по талеру въ мѣсяцъ. Эта бѣдная жизнь и полная зависимость отъ Генкеля, думавшаго болѣе о своихъ барышахъ, чѣмъ объ урокахъ студентамъ, были источникомъ всѣхъ дальнѣйшихъ непріятностей Ломоносова въ Фрейбергѣ и его бѣгства изъ этого города.

Но въ началѣ его пребыванія въ Фрейбергѣ, отношенія къ Генкелю были самыя мирныя. Тотчасъ по пріѣздѣ студентовъ, Генкель началъ съ ними свои operationes и lectiones metallurgicas. Онъ былъ очень доволенъ студентами, называя ихъ liebes Jugend и отзываясь о нихъ съ самой лучшей стороны. Онъ вѣритъ въ искренность ихъ раскаянія въ безпорядочной марбургской жизни, онъ не сомнѣвается ни въ способностяхъ, ни въ прилежаніи студентовъ, ни въ уваженіи ихъ къ нему, какъ къ наставнику. Генкель такъ хорошо настроенъ, такъ расположенъ къ студентамъ, что является даже ходатаемъ за нихъ передъ Академіей. Онъ почти укоряетъ послѣднюю въ жестокомъ обращеніи съ студентами, пишетъ, что назначеннаго имъ содержанія весьма недостаточно, пишетъ, что имъ необходимо новое платье и указываетъ на другіе неизбѣжные расходы, которые прежде не предвидѣлись, какъ напр. преподаваніе его товарища по службѣ Керна, учившаго студентовъ рисованію машинъ и разныхъ зданій, приспособленныхъ къ горному дѣлу. Ген-

кель просилъ Академію назначить Керну 100 рейхсталеровъ въ годъ, а студентамъ прибавить по 50 на каждаго.

Свидѣтелемъ этихъ первыхъ мирныхъ отношеній Генкеля къ студентамъ и успѣховъ ихъ въ занятіяхъ горными науками въ Фрейбергѣ былъ членъ Академіи Наукъ Юнкеръ, прикомандированный ею къ фельдмаршалу Миниху „для веденія журнала“. Въ Фрейбергѣ Юнкеръ встрѣтился съ Ломоносовымъ и нашелъ въ немъ помощника. Послѣдній, припоминая свои юношескія поѣздки съ отцомъ къ бѣломорскимъ соловарнямъ для закупки соли, по порученію Юнкера, переводилъ для него съ нѣмецкаго рапорты въ Академію и разные экстракты о соляномъ дѣлѣ. Юнкеръ счелъ своею обязанностью писать къ барону Корфу о своей встрѣчѣ съ русскими студентами. Въ этомъ письмѣ онъ хвалитъ и поведеніе и успѣхи студентовъ. Принимая участіе въ ихъ занятіяхъ, онъ высказываетъ свои предположенія о тѣхъ спеціальныхъ занятіяхъ въ области горнаго дѣла, которыя согласны были бы съ способностями самихъ студентовъ. По его наблюденію, Ломоносову слѣдовало бы въ особенности заняться изученіемъ рудокопнаго дѣла и машинъ. Вообще, кажется, Юнкеръ близко сошелся съ Ломоносовымъ и чаще видѣлся съ нимъ, чѣмъ съ прочими. Есть даже большое основаніе думать, что Юнкеръ, составитель походнаго журнала Миниха, и безъ всякаго сомнѣнія, поклонникъ военныхъ подвиговъ фельдмаршала, кромѣ того самъ поэтъ, развившійся подъ вліяніемъ единственнаго замѣчательнаго нѣмецкаго поэта того времени — Гюнтера, составитель придворныхъ и похвальныхъ одъ въ Петербургѣ, которыя доставляли ему протекцію сильныхъ людей и переводчикъ извѣстной оды Тредіаковскаго „На взятіе Данцига“, находившійся въ близкихъ отношеніяхъ къ Ломоносову въ Фрейбергѣ въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ, — далъ первый поводъ къ сочиненію оды „На взятіе Хотина“, и, безъ всякаго сомнѣнія, онъ же и отвезъ эту оду въ Петербургъ.

Знаменитая ода эта, которою началась русская поэзія и въ которой заговорила она языкомъ и звуками, до тѣхъ поръ неслыханными, обязана, какъ извѣстно, своимъ происхожденіемъ побѣдѣ Миниха при Ставучанахъ (18 августа 1739 г.) и вслѣдъ за нею взятію Хотина. Ломоносовъ, отправляя свое поэтическое произведеніе въ Петербургъ, въ то отдѣленіе

Академіи Наукъ, которое образовалось въ ней въ началѣ 1735 года, подъ именемъ „Россійскаго собранія“, и гдѣ самымъ усерднымъ членомъ былъ Тредіаковскій, писалъ, что ода эта „не что иное есть, какъ только превеликія оныя радости плодъ, которую непобѣдимѣйшія нашея монархини преславная надъ непріятелями побѣда, въ вѣрномъ моемъ сердцѣ возбудила“, а въ концѣ оды онъ говоритъ о ней, что его „некрасной стихъ“ есть „знакъ подданства“. Мы и не можемъ ожидать отъ Ломоносова глубокаго патріотическаго чувства, какъ вдохновенія. Между этимъ чувствомъ и громкими, совершенно внѣшними одами, вызываемыми громомъ современныхъ викторій и всею ослѣпительною внѣшностію XVIII вѣка, — не было ничего общаго. Ломоносову уже извѣстно было, изъ примѣровъ Юнкера и Тредіаковскаго, что официальные стихи похвальныхъ одъ ведутъ въ Петербургѣ къ почестямъ и наградамъ поэтовъ; съ другой стороны, Академія требовала отъ него образчиковъ занятій и упражненія въ русскомъ языкѣ; притомъ, посылая оду, въ приложенномъ къ ней письмѣ, онъ заговорилъ о правилахъ русской версицикаціи и такимъ образомъ придалъ своему произведенію характеръ научный, на что Академія должна была обратить вниманіе. Онъ просилъ у академиковъ мнѣнія насчетъ нововведенія, сдѣланнаго имъ въ русскомъ стихосложеніи. „Я не могу довольно о томъ нарадоваться, — пишетъ онъ, — что россійскій нашъ языкъ не только бодростію и героическимъ звономъ греческому, латинскому и нѣмецкому не уступаетъ; но и подобную онымъ, а себѣ купно природную и свойственную версификацію имѣть можетъ“. „Россійское Собраніе“, впрочемъ не удостоило фрейбергскаго студента своимъ отвѣтомъ; только одинъ Тредіаковскій, видѣвшій въ письмѣ Ломоносова, не безъ основанія, полемику противъ его „Способа къ сложенію россійскихъ стиховъ“, изданнаго въ 1735 году, написалъ ему отвѣтъ въ Фрейбергъ отъ 11 февраля 1740 г. „для защищенія правилъ“ своихъ, но письмо это Академіей не было отправлено, чтобъ „на платежъ за почту денегъ напрасно не терять“, такъ какъ оно было наполнено исключительно полемикой Тредіаковскаго, а о немъ уже и тогда Академія составила опредѣленное представленіе. Съ этихъ поръ начинается постоянный антагонизмъ между нимъ и Ломоносовымъ.

Самая ода Ломоносова не произвела въ Петербургѣ никакого дѣйствія. Академики-нѣмцы естественно не могли обратить на нее вниманіе, а Тредіаковскій тѣмъ болѣе долженъ былъ помѣшать ея распространенію, что видѣлъ въ ней наглядное доказательство ложности своихъ теорій, а въ Ломоносовѣ — опаснаго соперника. Безъ всякаго сомнѣнія она осталась въ архивѣ академическомъ и была пришита къ дѣлу объ отправкѣ трехъ студентовъ за границу. Академія не могла же печатать ихъ ученическія sресіmіna, а понять историческое значеніе оды было некому.

Содержаніе первой оды Ломоносова, имѣвшей такое сильное вліяніе на всю нашу лирическую поэзію въ XVIII вѣкѣ, есть придуманный восторгъ, который обыкновенно сочиняли себѣ поэты того времени. „Русская побѣда“ выставляется въ рамкѣ забытаго греческаго пѣснопѣнія, и представленія античной фантазіи, когда-то живыя и свѣжія, а теперь отъ долгаго употребленія у новыхъ народовъ Европы, съ эпохи возрожденія, совершенно опошленныя, тяжелымъ аппаратомъ вошли въ языкъ русской поэзіи. Съ легкой руки Ломоносова они усвоились нашими поэтами, вводившими къ намъ образцы ложно-классической литературы. Если есть сколько-нибудь жизни въ этой одѣ Ломоносова, то слѣдовъ ея надобно искать развѣ въ явленіи Петра В. „съ горящимъ лицомъ“ и съ „мечемъ, умытымъ кровію“, этого идеала Ломоносова, передъ русскимъ войскомъ. Все остальное въ одѣ, — и описаніе сраженія, и угрозы Портѣ, и блаженство Россіи:

Россія, какъ прекрасный кринъ,
Цвѣтетъ подъ АННИНОЙ державой.
Въ Китайскихъ чтутъ ее стѣнахъ,
И свѣтъ во всѣхъ своихъ концахъ
Исполненъ храбрыхъ россовъ славой —

выраженія сочиненнаго восторга и раболѣпной лести, составлявшихъ общій характеръ поэзіи XVIII вѣка. Этотъ вѣкъ, полный въ наукѣ и вообще въ прозѣ идеями великой просвѣтительной борьбы, въ поэзіи не ушелъ далеко.

Занятія металлургіей и поэзіей въ Фрейбергѣ были прерваны непріятными отношеніями къ Генкелю; вскорѣ напряженность между учителемъ и ученикомъ дошла до такой степени, что Ломоносовъ былъ принужденъ самовольно оставить Фрейбергъ и искать средствъ для возвращенія на родину.

Между Ломоносовымъ и Генкелемъ начались самыя непріятныя сцены, не дѣлающія чести обоимъ, слѣдствіемъ которыхъ были взаимныя обвиненія передъ петербургской Академіей.

Ломоносову, разумѣется, нельзя было оставаться въ Фрейбергѣ, и онъ отправился въ Лейпцигъ искать защиты и помощи у русскаго посланника при саксонскомъ дворѣ, графа Кайзерлинга.

Ломоносовъ выѣхалъ изъ Фрейберга въ половинѣ мая 1740 года; 6 іюня была его свадьба въ Марбургѣ, который онъ оставилъ тотчасъ же послѣ свадьбы, и не имѣя средствъ для жизни, отправился искать возможности возвратиться на родину. Въ концѣ октября того же года, послѣ попытки вернуться въ Россію, онъ былъ опять въ Марбургѣ, откуда написалъ большое и замѣчательное письмо къ Шумахеру, въ которомъ съ своей стороны объясняетъ всѣ свои поступки, съ ихъ побудительными причинами, свои отношенія къ Генкелю и бѣгство изъ Фрейберга. Письмо это отличается самостоятельностію и искренностію.

Ломоносовъ рѣшился отправиться къ нашему посланнику при саксонскомъ дворѣ, графу Кайзерлингу, который въ это время былъ въ Лейпцигѣ на ярмаркѣ, но не засталъ его здѣсь: посланникъ уѣхалъ въ Кассель для присутствованія на какой-то придворной свадьбѣ. Добрые марбургскіе знакомые, встрѣченные имъ въ Лейпцигѣ, предложили Ломоносову довезти его до Касселя. Возвращаться назадъ въ Фрейбергъ Ломоносовъ не хотѣлъ. Тамъ, по словамъ его, и ѣсть нечего и учиться нечему. Пробирное искусство Ломоносовъ уже узналъ, химію закончилъ, а инспекторъ Кернъ не начиналъ своихъ уроковъ съ студентами, потому что Генкель и изъ его вознагражденія, назначеннаго Академіей, хотѣлъ много выдѣлить въ свою пользу. Въ Касселѣ, къ крайнему сожалѣнію своему, онъ снова не нашелъ Кайзерлинга.

Въ полномъ отчаяніи, Ломоносовъ рѣшился отправиться въ Голландію и оттуда, какъ-нибудь, если не найдетъ помощи у русскаго посланника въ этой странѣ, графа Головкина, — въ Петербургъ. Въ Марбургъ заѣхалъ онъ для того, чтобъ *у старыхъ друзей* своихъ пріобрѣсти какія-либо средства для предстоящаго странствованія. Эти старые друзья Ломоносова могли быть родственниками его молодой жены, если

только они были зажиточны. Обратиться къ Вольфу за помощью онъ не рѣшился, замѣтивъ, что послѣдній не желалъ вмѣшиваться въ это дѣло. Денежные счеты его съ петербургской Академіей были кончены.

Странствованіе Ломоносова началось съ Франкфурта. Отсюда водою отправился онъ въ Роттердамъ и Гагу. Русскій посланникъ, представитель придворныхъ интересовъ, какъ и слѣдовало ожидать, отказалъ въ помощи Ломоносову и объявилъ наотрѣзъ, что онъ не желаетъ вмѣшиваться въ это дѣло. Изъ Гаги Ломоносовъ отправился въ Амстердамъ. Здѣсь встрѣченные имъ знакомые архангельскіе купцы положительно не совѣтовали ему возвращаться безъ разрѣшенія въ Петербургъ, и Ломоносовъ рѣшился повернуть обратно въ Германію. „Сколько опасностей и сколько нужды вытерпѣлъ я дорогою, — говоритъ Ломоносовъ, — мнѣ самому страшно вспомнить“. Онъ не хочетъ говорить о своихъ страданіяхъ въ письмѣ, желая быть короткимъ.

Сообщая о томъ, что онъ воротился въ Марбургъ и живетъ у друзей *инкогнито*, Ломоносовъ пишетъ, что не теряетъ даромъ времени, а занимается алгеброй, съ цѣлію примѣненія ея къ химіи и физикѣ. Путешествіе также принесло ему пользу, и Ломоносовъ утѣшаетъ себя тѣмъ, что видѣлъ знаменитые города, имѣлъ въ нихъ случай говорить съ нѣкоторыми опытными химиками, посѣтилъ ихъ лабораторіи и лично обозрѣлъ горныя работы въ Гессенѣ и Зигенѣ. Въ письмѣ выражается замѣчательная самостоятельность, образованная трудомъ, лишеніями и несчастіями. Постепенно вырастаетъ въ духѣ Ломоносова гордое сознаніе своихъ достоинствъ и умственной силы, которое не покидало его никогда. „Я увѣренъ, — пишетъ онъ къ Шумахеру, — что вы, по естественной добротѣ своей, не отвергнете меня, несчастнаго, и не погубите во мнѣ человѣка, который уже въ состояніи служить Ея Величеству и быть полезнымъ отечеству“. Онъ ставитъ себя гораздо выше недавняго своего учителя Генкеля, котораго могутъ считать глубокимъ ученымъ только не знающіе его близко. „Я не желаю, — говоритъ онъ, — мое незначительное, но основательное знаніе промѣнять на его науку“. Онъ, по словамъ его, дѣлаетъ тайну изъ самыхъ обыкновенныхъ химическихъ процессовъ, которые можно найти въ любомъ учебникѣ, а строеніе горъ можно гораздо

лучше узнать отъ простого штейгера, который всю жизнь проводитъ въ минахъ, чѣмъ отъ него. „Естественную исторію, продолжаетъ Ломоносовъ, — надобно изучать не въ комнатѣ Генкеля, изъ его ящиковъ и коробочекъ, но нужно самому посѣтить различные горные заводы и рудники, самому изучать на мѣстѣ положеніе и свойства горъ и земли и отношенія другъ къ другу находящихся въ нихъ минераловъ". Съ этою цѣлію онъ просилъ Шумахера освободить его отъ тиранской власти его преслѣдователя и, продолжая еще нѣсколько времени высылку стипендіи, позволить ему еще пробыть въ Гарцѣ или въ другомъ мѣстѣ, гдѣ бы онъ могъ усовершенствовать свое знакомство съ горнымъ дѣломъ. Если онъ даромъ истратитъ деньги и на этотъ разъ не оправдаетъ довѣрія Академіи, Ломоносовъ рѣшался подвергнуться всякому наказанію и въ самое короткое время обѣщалъ доставить надлежащія свидѣтельства въ своихъ познаніяхъ и труды свои.

Шумахеръ, письмомъ отъ 28 февраля 1741 г. къ Вольфу, переселившемуся въ это время, по вступленіи на прусскій престолъ Фридриха II, въ Галле, прилагая вексель въ 100 р., требовалъ немедленнаго отправленія Ломоносова въ Петербургъ. Того же числа писалъ онъ Ломоносову, чтобъ по полученіи денегъ, онъ ѣхалъ въ Любекъ и оттуда отправлялся въ Петербургъ, какъ только вскроется море. Вольфъ въ отвѣтъ на это, отъ 25 апрѣля, увѣдомлялъ Академію, что письмо и вексель онъ переслалъ въ Марбургъ къ одному изъ своихъ друзей для передачи Ломоносову съ подтвержденіемъ торопиться въ Россію. Онъ поручился даже въ долгахъ Ломоносова, около ста талеровъ. Черезъ два мѣсяца послѣ этой переписки, 8 іюня 1741 года, Ломоносовъ былъ уже въ Петербургѣ.

Наконецъ Ломоносовъ на родинѣ, въ Петербургѣ. Собираніе силъ кончилось. Начинается его дѣйствительное служеніе отечеству, служеніе наукѣ, для которой онъ готовился, примѣненіе къ окружающей его дѣйствительности запаса силъ нравственныхъ и умственныхъ, запаса воли и талантовъ, запаса свѣдѣній, вынесенныхъ имъ изъ европейской школы. Успѣхъ служенія Ломоносова во многомъ зависѣлъ отъ того общества, въ которомъ онъ жилъ, и отъ ближайшей среды, гдѣ онъ дѣйствовалъ. Двадцать четыре года длится эта жизнь,

порывающаяся безостановочно во всѣ стороны, жизнь, полная лихорадочной тревоги и самой неутомимой, порывистой дѣятельности. Въ этой жизни сгорѣлъ Ломоносовъ, и, представляя себѣ эту жизнь, исполненную борьбы и тревоги, вслѣдствіе тѣхъ обстоятельствъ, въ которыя она была поставлена, позднему біографу Ломоносова остается только напряженно искать: гдѣ же результаты этой борьбы, гдѣ же плодъ этой тревожной жизни? Послѣдующая жизнь Ломоносова выставляется передъ нами тяжелымъ подвигомъ и безостановочною борьбою, на которую потрачено много силъ и душевныхъ и тѣлесныхъ. *Буличъ.*

Источники вдохновенія Ломоносова.

Чувство религіозное и патріотическое, любовь къ природѣ и наукѣ были источниками поэтическаго одушевленія Ломоносова. Въ тяжелыхъ обстоятельствахъ своей жизни, исполненной борьбы и всякаго рода лишеній и страданій, физическихъ и нравственныхъ, Ломоносовъ любилъ обращаться за утѣшеніемъ къ вѣрѣ и искалъ облегченія въ пѣснопѣніяхъ Давида, въ страдальческой жизни Іова; онъ переложилъ нѣсколько псалмовъ въ стихи и написалъ оду изъ книги Іова. Нѣкоторые его псалмы, какъ-то: Псал. XIV: „Господи, кто обитаетъ въ свѣтломъ домѣ, выше звѣздъ...“ и Псал. CXLV: „Хвалу Всевышнему Владыкѣ потщися, духъ мой, возсылать...“ пріобрѣли особенную популярность, были переложены на ноты и долго распѣвались даже въ нынѣшнемъ столѣтіи. Въ „Одѣ изъ книги Іова“ (гл. XXXVIII—XLI) содержится свободное, съ нѣкоторыми пропусками, переложеніе рѣчи Божіей къ Іову, въ которой изображается, съ одной стороны, божественное всемогущество, а съ другой — безсиліе и ничтожество человѣка. Въ началѣ оды прибавлено Ломоносовымъ обращеніе къ человѣку, ропщущему въ несчастіи на Бога:

О ты, что въ горести напрасно
На Бога ропчешь, человѣкъ!
Внимай, коль въ ревности ужасно
Онъ къ Іову изъ тучи рекъ!
Сквозь дождь, сквозь вихрь, сквозь градъ блистая

И гласомъ громы прерывая,
Словами небо колебалъ,
И такъ его на распрю звалъ:
„Сбери свои всѣ силы нынѣ.
Мужайся, стой и дай отвѣтъ.
Гдѣ былъ ты, какъ я въ стройномъ чинѣ
Прекрасный сей устроилъ свѣтъ;
Когда я твердь земли поставилъ,
И сонмъ небесныхъ силъ прославилъ
Величество и власть мою?
Яви премудрость ты свою!
„Гдѣ былъ ты, какъ передо мною
Безчисленны тьмы новыхъ звѣздъ,
Моей возженныхъ вдругъ рукою,
Въ обширности безмѣрныхъ мѣстъ,
Мое величество вѣщали;
Когда отъ солнца возсіяли
Повсюду новые лучи,
Когда взошла луна въ ночи?
„Кто море удержалъ брегами
И безднѣ положилъ предѣлъ,
И ей свирѣпыми волнами
Стремиться далѣ не велѣлъ?
Покрытую пучину мглою
Не Я ли сильною рукою
Открылъ и разогналъ туманъ,
И съ суши сдвинулъ океанъ?
„Возмогъ ли ты хотя однажды
Велѣть ранѣе утру быть,
И нивы въ день томящей жажды
Дождемъ прохладнымъ напоить,
Пловцу способный вѣтръ направить,
Чтобъ въ пристани его поставить“.

А въ концѣ оды присоединено наставленіе переносить несчастія съ терпѣніемъ и надеждою на Бога:

Сіе, о смертный, разсуждая,
Представь Зиждителеву власть
Святую волю почитая,
Имѣй свою въ терпѣньи часть!
Онъ все на пользу нашу строитъ:
Казнитъ кого, или покоитъ,
Въ надеждѣ тяготу сноси
И безъ роптанія проси!

Какъ въ молодыхъ годахъ наблюденіе надъ явленіями природы, такъ и впослѣдствіи ученое ихъ изслѣдованіе возбу-

ждали въ Ломоносовѣ глубокое чувство благоговѣнія и удивленія къ величію и премудрости Божіей. Это чувство онъ выразилъ въ двухъ одахъ: „Утреннее размышленіе о Божіемъ величествѣ“ и „Вечернее размышленіе о Божіемъ величествѣ, по случаю сѣвернаго сіянія“, которыя, справедливо, считаются лучшими его поэтическими произведеніями. Онѣ проникнуты неподдѣльнымъ религіознымъ чувствомъ, исполнены прекрасными картинами природы и написаны легкими, гармоническими ямбами. Вотъ въ какой картинѣ изображены восходъ солнца и озареніе имъ всей природы въ „Утреннемъ размышленіи о Божіемъ величествѣ“:

Уже прекрасное свѣтило
Простерло блескъ свой по земли
И Божія дѣла открыло:
Мой духъ, съ веселіемъ внемли!
Чудяся яснымъ толь лучамъ,
Представь, каковъ Зиждитель самъ!
Когда бы смертнымъ толь высоко
Возможно было возлетѣть,
Чтобъ къ солнцу бренно наше око
Могло, приблизившись, воззрѣть:
Тогда бъ со всѣхъ открылся странъ
Горящій вѣчно океанъ.
Тамъ огненны валы стремятся
И не находятъ береговъ,
Тамъ вихри пламенны крутятся,
Борющись множество вѣковъ;
Тамъ камни, какъ вода кипятъ,
Горящи тамъ дожди шумятъ.
Сія ужасная громада,
Какъ искра предъ тобой одна.
О коль пресвѣтлая лампада
Тобою, Боже, возжена
Для нашихъ повседневныхъ дѣлъ,
Что Ты творить намъ повелѣлъ!“

Особенно замѣчательно „Вечернее размышленіе о Божіемъ величествѣ“ по великолѣпному изображенію сѣвернаго сіянія, которое Ломоносовъ еще въ дѣтствѣ наблюдалъ въ Сѣверномъ океанѣ, и которое потомъ, какъ ученый, объяснялъ въ „Словѣ о воздушныхъ явленіяхъ, отъ электрической силы происходящихъ“.

Лицо свое скрываетъ день;
Поля покрыла мрачна ночь,
Взошла на горы черна тѣнь,

Лучи отъ насъ склонились прочь.
Открылась бездна, звѣздъ полна:
Звѣздамъ числа нѣтъ, безднѣ дна.
Песчинка какъ въ морскихъ волнахъ,
Какъ мала искра въ вѣчномъ льдѣ,
Какъ въ сильномъ вихрѣ тонкій прахъ,
Въ свирѣпомъ какъ перо огнѣ,
Такъ я, въ сей безднѣ углубленъ,
Теряюсь, мысльми утомленъ!
Но гдѣ жъ, натура, твой законъ?
Съ полночныхъ странъ встаетъ заря!
Не солнце ль ставитъ тамъ свой тронъ?
Не льдисты ль мещутъ огнь моря?
Се хладный пламень насъ покрылъ!
Се въ ночь на землю день вступилъ!
О вы, которыхъ быстрый зракъ
Пронзаетъ въ книгу вѣчныхъ правъ,
Которымъ малый вещи знакъ
Являетъ естества уставъ,
Вамъ путь извѣстенъ всѣхъ планетъ:
Скажите, что насъ такъ мятетъ!

. . . . . .

Что зыблетъ ясный нощью лучъ?
Что тонкій пламень въ твердь разитъ?
Какъ молнія безъ грозныхъ тучъ,
Стремится отъ земли въ зенитъ?
Какъ можетъ быть, чтобъ мерзлый паръ
Среди зимы рождалъ пожаръ?

. . . . . .

Сомнѣній полонъ вашъ отвѣтъ
О томъ, что окрестъ ближнихъ мѣстъ:
Скажите жъ, коль пространенъ свѣтъ?
И что малѣйшихъ далѣ звѣздъ?
Не свѣтамъ тварей вамъ конецъ:
Скажите жъ, коль великъ Творецъ!

Другимъ источникомъ поэтическаго одушевленія Ломоносова было чувство патріотическое. Это чувство его въ первый разъ выразилось въ „Одѣ на взятіе Хотина въ 1739 г.“, потомъ въ „Одѣ на восшествіе на престолъ императрицы Елизаветы Петровны“, и выражалось въ продолженіе всего ея царствованія въ похвальныхъ словахъ и одахъ, которыя и дали Ломоносову имя пѣвца Елизаветы. Послѣ непомѣрно тяжкаго положенія во время гнета Бирона и господства нѣмецкой партіи вообще при Аннѣ Іоанновнѣ, краткое царствованіе Елизаветы, возстановившей въ Россіи просвѣщеніе,

начатое Петромъ В., и покровительствовавшей всѣмъ русскимъ людямъ, трудившимся на пользу Россіи, казалось современникамъ чуть не золотымъ вѣкомъ. Мы видѣли, что въ похвальномъ словѣ Елизаветѣ Ломоносовъ представляетъ ее наслѣдницей и продолжательницей славныхъ дѣлъ Петра и покровительницей русской науки и русскаго просвѣщенія. Это же выражается и въ похвальныхъ его одахъ. Лучшею изъ этихъ одъ въ художественномъ отношеніи считается ода на восшествіе на престолъ императрицы, написанная въ 1747 г. Ода начинается прославленіемъ тишины, или мира, который Елизавета своимъ мудрымъ и кроткихъ правленіемъ доставила Россіи. Этотъ миръ служитъ источникомъ благоденствія народнаго вообще и въ частности причиною процвѣтанія наукъ.

Царей и царствъ земныхъ отрада,
Возлюбленная тишина,
Блаженство селъ, градовъ ограда,
Коль ты полезна и красна!
Вокругъ тебя цвѣты пестрѣютъ
И класы на поляхъ желтѣютъ;
Сокровищъ полны корабли
Дерзаютъ въ море за тобою;
Ты сыплешь щедрою рукою
Свое богатство по земли.
Великое свѣтило міру,
Блистая съ вѣчной высоты
На бисеръ, злато и порфиру,
На всѣ земныя красоты,
Во всѣ страны свой взоръ возводитъ,
Но краше въ свѣтѣ не находитъ
Елизаветы и тебя.

Изображая пользу наукъ, Ломоносовъ и здѣсь, такъ же, какъ въ Похвальномъ Словѣ Елизаветѣ, обращается къ учащемуся русскому юношеству:

О вы, которыхъ ожидаетъ
Отечество отъ нѣдръ своихъ,
И видѣть таковыхъ желаетъ,
Какихъ зоветъ отъ странъ чужихъ!
О, ваши дни благословенны!
Дерзайте нынѣ ободренны
Раченьемъ вашимъ показать,
Что можетъ собственныхъ Платоновъ
И быстрыхъ разумомъ Невтоновъ
Россійская земля рождать.

Оканчивается ода извѣстными стихами въ похвалу наукъ, составляющими переводъ одного мѣста изъ рѣчи Цицерона pro Archia poëta:

Науки юношей питаютъ,
Отраду старымъ подаютъ,
Въ счастливой жизни украшаютъ,
Въ несчастный случай берегутъ;
Въ домашнихъ трудностяхъ утѣха,
И въ дальнихъ странствахъ не помѣха.
Науки пользуютъ вездѣ:
Среди народовъ и въ пустынѣ,
Въ градскомъ шуму и наединѣ,
Въ покоѣ сладкомъ и трудѣ.

Но и въ этой лучшей похвальной одѣ Ломоносова отразилось, какъ въ построеніи ея по образцу одъ Пиндара и Горація, такъ особенно въ употребленіи миѳологическихъ образовъ, греческихъ музъ, боговъ и богинь, то ложноклассическое направленіе, которому онъ слѣдовалъ въ своихъ стихотвореніяхъ.

Въ поляхъ кровавыхъ Марсъ страшился,
Свой мечъ въ Петровыхъ зря рукахъ,
И съ трепетомъ Нептунъ чудился,
Взирая на россійскій флагъ.
. . . . . .
Верхи парнасски возстенали,
И музы воплемъ провождали
Въ небесну дверь пресвѣтлый духъ...
. . . . . .
И се Минерва ударяетъ
Въ верхи рифейски копіемъ,
Сребро и злато истекаетъ
Во всемъ наслѣдіи твоемъ.
Плутонъ въ разсѣлинахъ мятется,
Что россамъ въ руки предается
Драгой его металлъ изъ горъ.

Любовь къ наукѣ, замѣтилъ Пушкинъ, была главною страстію страстной души Ломоносова. Чувство любви къ ней выражавшееся во всей его жизни и во всѣхъ его сочиненіяхъ, съ особенною силою обнаруживалось тогда, когда онъ видѣлъ неуваженіе къ наукѣ или нападеніе на нее. Съ такимъ чувствомъ написано его посланіе о пользѣ стекла. По характеру своему, оно принадлежитъ къ такъ называемымъ

дидактическимъ произведеніямъ, въ которыхъ поэты XVIII в. любили излагать стихами иногда совсѣмъ не поэтическіе предметы. Но Ломоносовъ, съ увлеченіемъ занимавшійся въ это время мозаикой, на которую другіе нападали, какъ на безполезное искусство, написалъ свое посланіе о стеклѣ съ истинно-поэтическимъ одушевленіемъ. Ближайшимъ поводомъ къ нему былъ слѣдующій случай. На обѣдѣ у Шувалова, на которомъ Ломоносовъ былъ въ кафтанѣ со стеклянными пуговицами, кто-то замѣтилъ ему, что стеклянныя пуговицы нынѣ уже не въ модѣ. Ломоносовъ отвѣчалъ, что носить такія пуговицы не по модѣ, а изъ уваженія къ стеклу, и съ одушевленіемъ началъ ему объяснять пользу стекла въ домашнемъ быту, въ ремеслахъ, художествахъ и наукахъ. Эти объясненія такъ понравились Шувалову, что онъ посовѣтовалъ Ломоносову изложить ихъ въ стихахъ. На этотъ случай и указываетъ начало „Посланія", заключающее обращеніе къ Шувалову:

Неправо о вещахъ тѣ думаютъ, Шуваловъ,
Которые стекло чтутъ ниже минераловъ,
Приманчивымъ лучомъ блистающихъ въ глаза:
Не меньше пользы въ немъ, не меньше въ немъ краса.
Нерѣдко я для той съ Парнасскихъ горъ спускаюсь;
И нынѣ отъ нея на верхъ ихъ возвращаюсь,
Пою передъ тобой въ восторгѣ похвалу
Не камнямъ дорогимъ, не злату, но стеклу.
И какъ я оное хваля воспоминаю,
Не ломкость лживаго я счастья представляю.
Не должно тлѣнности примѣромъ тое быть,
Чего и сильный огнь не можетъ разрушить,
Другихъ вещей конечный раздѣлитель;
Стекло имъ рождено: огонь его родитель.

Затѣмъ Ломоносовъ указываетъ на тѣ предметы, которые приготовляются изъ стекла — на разные сосуды, употребляемые въ разныхъ случаяхъ, на стекла, зеркала, бисеръ, очки зрительныя трубы, микроскопъ, барометръ, электрическія машины и проч.

Когда неистовый свирѣпствуя Борей
Стѣсняетъ мразомъ насъ въ упругости своей,
Великой не терпя и строгой перемѣны,
Скрываетъ человѣкъ себя въ толстыя стѣны:
Онъ былъ бы принужденъ безъ свѣту въ нихъ сидѣть,

Или съ дрожаніемъ несносный хладъ терпѣть.
Но солнечны лучи онъ сквозь стекло впускаетъ
И лютость холода чрезъ то же отвращаетъ.

По долговременномъ теченьи нашихъ дней,
Тупѣетъ зрѣніе ослабленныхъ очей.
Померкшее того не представляетъ чувство,
Что кажетъ въ тонкостякъ натура и искусство.
Велика сердцу скорбь лишиться чтенья книгъ:
Скучнѣе вѣчной тьмы, тяжелѣе веригъ!
Тогда противенъ день, веселіе досада!
Одно лишь намъ стекло въ сей бѣдности отрада.
Оно способствіемъ искусныя руки
Подать намъ зрѣніе умѣетъ чрезъ очки.

Хоть острымъ взоромъ насъ природа одарила,
Но близокъ онаго конецъ имѣетъ сила.
Кромѣ, что вдалекѣ, не кажетъ намъ вещей
И собранныхъ трубой онъ требуетъ лучей,
Коль многихъ тварей онъ еще не досягаетъ,
Которыхъ малый ростъ предъ нами сокрываетъ!
Но въ нынѣшнихъ вѣкахъ намъ микроскопъ открылъ,
Что Богъ невидимыхъ животныхъ сотворилъ.
Коль тонки члены ихъ, составы, сердце, жилы?
И нервы, что хранятъ въ себѣ животны силы.
Не меньше, нежели въ пучинѣ тяжкій китъ,
Насъ малый червь частей сложеніемъ дивитъ.
Великъ Создатель нашъ въ огромности небесной!
Великъ въ строеніи червей, скудели тѣсной!
Стекломъ познали мы толики чудеса,
Чѣмъ онъ наполнилъ понтъ, и воздухъ, и лѣса.
Прибавивъ ростъ вещей, оно, коль намъ потребно,
Являетъ травъ разборъ и знаніе врачебно.
Коль много микроскопъ намъ тайностей открылъ,
Невидимыхъ частицъ и тонкихъ въ тѣлѣ жилъ!

Но что еще? Уже въ стеклѣ намъ барометры
Хотятъ предвозвѣщать, коль скоро будутъ вѣтры.
Коль скоро дождь густой на нивахъ зашумитъ,
Иль, облаки прогнавъ, ихъ солнце осушитъ.
Надежда наша въ томъ обманами не льстится;
Стекло поможетъ намъ, и дѣло совершится.
Открылись точно имъ движенія свѣтилъ:
Чрезъ то жъ откроется въ погодахъ разность силъ.
Коль могутъ счастливы селяне быть оттолѣ,
Когда не будетъ зной ни дождь опасенъ въ полѣ!

Какой способности ждать должно кораблямъ,
Узнавъ, когда шумѣть или молчать волнамъ.
И плавать по морю безбѣдно и спокойно!
Велико дѣло въ семъ и горъ златыхъ достойно.

Такимъ образомъ Ломоносовъ проникался высокимъ поэтическимъ одушевленіемъ, когда приводилось ему писать о предметахъ, близкихъ его сердцу, хотя бы эти предметы для другихъ и не казались важными и поэтическими.

Порфирьевъ.

Взглядъ Ломоносова на церковно-славянскій языкъ.

Вопреки Тредіаковскому Ломоносовъ положительно отдѣлилъ славянскій языкъ отъ древне-русскаго и назвалъ послѣдній, въ противоположность церковному, „гражданскимъ", сохранившимся въ „печатныхъ и рукописныхъ гражданскихъ книгахъ, великороссіянами сочиненныхъ, каковы суть Уложеніе, указанныя книги и другія печатныя и письменныя права и указы".

При другомъ случаѣ Ломоносовъ говоритъ еще опредѣленнѣе: „Онъ (т.-е. Шлёцеръ) поистинѣ не знаетъ, сколько рѣчи, въ россійскихъ лѣтописяхъ находящіяся, разнятся отъ древняго моравскаго языка, на который переведено прежде священное Писаніе; ибо тогда россійскій діалектъ былъ другой, какъ видно изъ древнихъ реченій въ Несторѣ, каковы находятся въ договорахъ первыхъ россійскихъ князей съ царями греческими. Тому же подобные законы Ярославовы, „Правда Русская" называемые; также прочія историческія книги, въ которыхъ употребительныя рѣчи въ Библіи и въ другихъ церковныхъ книгахъ, коихъ премного, по большей части не находятся, иностраннымъ мало знаемы".

Итакъ, по понятію Ломоносова, древне-русскій языкъ былъ очень различенъ отъ церковно-славянскаго. Далѣе Ломоносовъ полагалъ, что славянскій языкъ отъ великороссійскаго ничѣмъ столько не разнится, какъ окончаніями реченій. Напримѣръ, по-славянски единственные прилагательные мужскіе именительные падежи кончаются на *ый* и *ій* (богатый, старшій, синій), по-великороссійски кончаются на ой и ей (*богатой, стар-*

шей, синей); по-славянски — *сыновóмъ, дѣлóмъ, рýцѣ, мене, пихомъ, кланяхуся,* по-великороссійски — *сыновьямъ, дѣламъ, руки, меня,* (мы) *пили,* (они) *кланялись*". Въ грамматикѣ Ломоносова отмѣчены нѣкоторые славянизмы въ формахъ и сочиненія словъ, въ противоположность соотвѣтствующимъ руссизмамъ: говорится, что въ русскомъ языкѣ только тѣ глаголы могутъ имѣть причастіе на *щій* и *мый*, которые были въ употребленіи и у славянъ (§§ 343, 442, 444, 453); и наоборотъ, что дѣепричастіе на *ючи* употребительнѣе „у точныхъ россійскихъ глаголовъ", а дѣепричастія на *я* — у глаголовъ, происходящихъ изъ славянскаго языка (§ 356). Кромѣ того, Ломоносовъ полагаетъ, что причастіе съ окончаніемъ *тщійся* болѣе употребительно въ глаголахъ славянскихъ (§ 450), а усѣченное, съ окончаніемъ на *нъ* — въ россійскихъ (§ 448). Есть у него замѣчаніе, что „славянскія реченія больше позволяютъ употребленіе возвратныхъ (глаголовъ) вмѣсто страдательныхъ (§ 512); высказывается сожалѣніе о томъ, что „изъ обычая и употребленія вышла форма дательнаго самостоятельнаго" (§ 533), и приводится въ видѣ славянизма форма родительнаго восклицательнаго: о, чуднаго Промысла! (§ 570). Но, по мнѣнію Ломоносова, „разность славянскаго языка съ россійскимъ" не ограничивается грамматическими формами и различіями фонетическими; она отражается и въ лексикологическомъ составѣ обоихъ языковъ. Ломоносовъ имѣлъ даже въ виду „отмѣтить старыя слова россійскія церковныя" въ противоположность „новымъ или гражданскимъ словамъ россійскимъ"; отъ преобладающаго участія тѣхъ или другихъ происходитъ, по его мнѣнію, стилистическое различіе въ русской рѣчи.

Ломоносовъ считаетъ церковный языкъ какъ бы уровнительнымъ маятникомъ, который своимъ вліяніемъ сближаетъ расходящіяся діалектическія формы и задерживаетъ слишкомъ быструю измѣнчивость языка живого: благодаря этому обстоятельству языки славянъ православныхъ сохраняютъ наибольшую близость между собою и древній видъ: современному русскому понятенъ языкъ „Русской Правды" и Нестора. Какъ языкъ Церкви и органъ богатой литературы, съ выработанными и установившимися формами, церковно-славянскій языкъ представляется Ломоносову выше едва зарождающагося новаго литературнаго русскаго языка. Правда, что и древне-русскій

языкъ имѣлъ нѣкоторую литературную обработку, но она ограничивалась лѣтописями и юридическими памятниками, не возвышаясь до изложенія наукъ отвлеченныхъ, гдѣ церковный языкъ перебилъ ему дорогу. Но такъ какъ, по взгляду Ломоносова, слово и мысль нераздѣльны, то и самыя слова церковно-славянскія получали нѣкоторое освященіе и высоту.

Будиловичъ.

Грамматика Ломоносова.

Обратимся сперва къ тому, что заключаетъ въ себѣ эта грамматика, а потомъ постараемся указать, какими источниками Ломоносовъ пользовался при ея составленіи.

Въ его грамматикѣ вниманію нашему представляются двѣ стороны: во-первыхъ, расположеніе; во-вторыхъ, содержаніе.

Въ первомъ отношеніи она раздѣлена на шесть *наставленій*, изъ которыхъ каждое подраздѣляется на нѣсколько главъ (числомъ отъ пяти до семи).

Первое *наставленіе* озаглавлено: *О человѣческомъ словѣ вообще.* Подъ *словомъ*, какъ видно изъ дальнѣйшаго изложенія, разумѣется языкъ; это послѣднее названіе часто встрѣчается въ посвященіи грамматики великому князю, которое и называется извѣстною фразою: „Повелитель многихъ *языковъ, языкъ россійскій*“ и т. д.

Впрочемъ и тамъ Ломоносовъ говоритъ о своемъ долговременномъ въ россійскомъ *словѣ* упражненіи“, но за основаніе изученія *своего языка* ставитъ общее философское понятіе *о человѣческомъ словѣ*“. Вникая въ различіе, полагаемое имъ въ употребленіи этихъ двухъ терминовъ, мы находимъ, что онъ пользуется ими съ большою разборчивостью, и во всей грамматикѣ пишетъ исключительно *слово*, когда разумѣетъ общую принадлежность человѣческаго рода, способность говорить *языкомъ же* называетъ онъ конкретно достояніе того или другого народа. Оттого и въ заглавіяхъ отдѣльныхъ главъ 1-го наставленія грамматики говорится все о *частяхъ слова*. Этотъ способъ выраженія проведенъ въ грамматикѣ съ большою послѣдовательностью.

Вслѣдствіе такого пріема Ломоносовъ въ своей грамматикѣ, подобно Смотрицкому, уже никогда не употребляетъ *слово*

въ смыслѣ звукового цѣлаго для выраженія отдѣльнаго понятія: для этого имъ обоимъ постоянно служитъ имя *реченіе*.

Идея и цѣль 1-го наставленія заключается въ томъ, чтобы прежде разсмотрѣнія частностей обозрѣвать всю область языка и уяснить основныя понятія науки о немъ. Оно должно было служить вступленіемъ въ русскую грамматику.

Приведу теперь заголовки отдѣльныхъ главъ, содержащихся въ этомъ наставленіи; но такъ какъ многіе термины Ломоносова впослѣдствіи замѣнены другими и потому для насъ не совсѣмъ понятны, то я рядомъ съ его заголовками поставлю въ скобкахъ, гдѣ нужно, ихъ переводъ на нынѣшніе термины:

Глава 1. О голосѣ.
„ 2. О выговорѣ и нераздѣлимыхъ частяхъ человѣческаго слова *(объ элементарныхъ звукахъ языка)*.
„ 3. О сложеніи нераздѣлимыхъ частей слова *(о сочетаніи элементарныхъ звуковъ*, т.-е. слогахъ).
„ 4. О знаменательныхъ частяхъ слова *(о реченіяхъ*, т.-е. отдѣльныхъ словахъ).
„ 5. О сложеніи знаменательныхъ частей слова *(о сочетаніи словъ или реченій)*.

Эти пять отдѣловъ могутъ быть сведены на три, изъ которыхъ виднѣе будетъ правильное и симметрическое расположеніе предмета: 1) о голосѣ и звукахъ языка вообще; 2) объ элементарныхъ звукахъ языка и о соединеніи ихъ въ слоги, а слоговъ въ слова; 3) о словахъ и соединеніи ихъ въ предложенія.

Отступая отъ общепринятаго въ его время порядка, Ломоносовъ начинаетъ свою грамматику размышленіями о *голосѣ*, слѣдовательно уже понимаетъ необходимость итти въ изученіи языка отъ живой рѣчи. Но качества и измѣненія голоса различены имъ не довольно ясно, и главы этой нельзя считать вполнѣ удачной.

Отъ *выговора* онъ, въ началѣ 2-й главы, обращается къ *нераздѣльнымъ частямъ слова*. Такъ называетъ онъ, подобно Смотрицкому, то, что въ наше время разумѣютъ подъ именемъ членораздѣльныхъ элементарныхъ звуковъ и ихъ изображеній, т.-е. буквъ. То и другое можетъ быть соединено подъ общимъ понятіемъ элементовъ языка. Вслѣдъ за симъ

начинается у Ломоносова весьма обыкновенное еще и донынѣ смѣшеніе понятій о звукѣ и о буквѣ, смѣшеніе, на которое жаловался еще древній грамматикъ Присціанъ.

Тѣмъ не менѣе, однакожъ, здѣсь тотчасъ выказывается естествоиспытатель. „Различность ихъ“ (т.-е. нераздѣлимыхъ частей слова), говоритъ Л—въ, „происходитъ отъ разности органовъ отъ разнаго ихъ положенія и движенія“. Органы эти тутъ же исчислены имъ вѣрно: губы, зубы, языкъ, нёбо и гортань съ положенными близъ ея частями, т.-е. съ языкомъ и его скважинами въ ноздри“ (№ 14 и 15). Затѣмъ слѣдуетъ различеніе *гласныхъ* и *согласныхъ*, изъ которыхъ первые Ломоносовъ, по примѣру Смотрицкаго, называетъ иногда и *самогласными;* хотя различіе тѣхъ и другихъ объяснено не совсѣмъ удовлетворительно, однакожъ постоянно обращается вниманіе и на физіологическую сторону дѣла. Различіе гласныхъ очень остроумно обозначено характеристическими признаками разныхъ положеній рта, именно расширеніемъ (Е), стисненіемъ (И) округленіемъ (О) и протяженіемъ (У).

Гласные дѣлятся на два разряда, отмѣченные у Ломоносова теми же терминами — *дебелые* и *тонкіе,* которые употреблены Смотрицкимъ, а потомъ приняты и Востоковымъ и Павскимъ для обозначенія двоякаго выговора согласныхъ (при ъ и при ѣ). Иначе Ломоносовъ называетъ ихъ *тупыми* и *острыми.* Но самое распредѣленіе гласныхъ на этомъ основаніи у него невѣрно. Именно онъ принимаетъ (№ 20):

дебелые:	тонкіе:
а	я
е	ѣ
ы	и
о	îо
	ю

Тутъ смѣшаны звуки съ буквами, простые звуки съ составными и дебелые съ тонкими.

Большею правильностью отличается у Ломоносова таблица согласныхъ по органамъ; въ этомъ отношеніи онъ принимаетъ: *губные, зубные, язычные, поднебные* и *гортанные* (№ 11).

Въ особенной табличкѣ Ломоносовъ представляетъ раздѣленіе буквъ каждаго органа на *мягкія* и *твердыя* (чему, по

нашей терминологіи, соотвѣтствуютъ громкія и шопотныя), но о физіологическомъ различіи изображаемыхъ тѣми и другими звуковъ онъ еще не имѣетъ надлежащаго понятія и объясняетъ его различной мѣрой стремленія воздуха и силы движенія (№ 24). Такъ и раздѣленіе согласныхъ на *мгновенные* и *длительные*, хотя бы и подъ древними названіями *нѣмыхъ* (mutae) и *полугласныхъ* (semivocales), вовсе еще чуждо сознанію Ломоносова, и онъ полагаетъ, что *всѣ* согласные, въ противоположность гласнымъ, „слышны бываютъ въ *нераздѣлимое* слухомъ время“ (№ 16): отъ вниманія его совершенно ускользнуло, что есть согласные, которые, подобно гласнымъ, также „могутъ дать голосу отмѣну на чувствительное и весьма долгое время, сколько духа человѣческаго станетъ“, какъ напр. *с*, *з*, *ш*, *ж*, *ф*, *в*.

Въ слѣдующей главѣ (3-й) о *сложеніи нераздѣлимыхъ частей слова* разсматривается образованіе *слоговъ*, которые Ломоносовъ постоянно называетъ *складами*. Послѣ того объяснено значеніе *ударенія* и *количества* съ указаніемъ на различіе языковъ въ этомъ отношеніи. Мы не разъ слышали замѣчаніе, будто Ломоносовъ, раздѣляя слоги на краткіе и долгіе, смѣшивалъ акцентъ съ протяженіемъ; но это несправедливо: называя одни слоги русскихъ стиховъ *долгими*, а другіе *короткими*, онъ употреблялъ эти термины только для удобства выраженія; самую сущность дѣла онъ очень хорошо понималъ. Это отчасти видно уже изъ его *Письма о правилахъ россійскаго стихотворства*, хотя тамъ сказано: „въ россійскомъ языкѣ тѣ только слоги долги, надъ которыми стоитъ сила, а прочіе всѣ коротки“. Гораздо яснѣе Ломоносовъ высказалъ свой взглядъ на русскую просодію въ грамматикѣ, писанной годами 15-ю позже означеннаго письма. Здѣсь (№ 32) онъ говоритъ уже не *о долгихъ* слогахъ, а *о повышенныхъ*, или *имѣющихъ на себѣ удареніе*, которое „составляется разностью возвышенія и униженія“ (голоса). Какъ вѣрно Ломоносовъ смотрѣлъ на это свойство русской просодіи, доказывается особенно № 34-мъ грамматики: „разность складовъ чрезъ протяженіе была весьма явственна у древнихъ грековъ и римлянъ, такъ что и стихотворство ихъ на томъ основано, не взирая на ударенія, которыя посему не такъ чувствительны были, какъ протяженія. Въ нынѣшнее время у европейскихъ народовъ хотя удареніе на складахъ преимущество одержало;

однако протяженіе не только не совсѣмъ истребилось; но и нѣкоторую разницу причиняетъ между реченіями одного выговора, напр.: у нѣмцевъ Stall краткое, значитъ конюшню, Stahl долгое, сталь". Приведеніе здѣсь примѣра изъ нѣмецкаго языка не оставляетъ мѣста ни малѣйшему сомнѣнію, что Ломоносовъ совершенно понималъ отсутствіе *долгихъ* слоговъ въ русскомъ. Чередованіе слоговъ съ удареніемъ и безъ ударенія или свойство голоса, которымъ оно производится, онъ называлъ *выходкой* (музыкальный терминъ) и прибавлялъ: „выходка въ различеніи складовъ примѣчается у всѣхъ извѣстныхъ народовъ; протяженіе у нѣкоторыхъ" (№ 31).

По плану 1-го наставленія грамматики, которая имѣетъ цѣлью дать понятіе о языкѣ независимо отъ письма, глава 3-я должна была ограничиться немногими приведенными мною сокращенно замѣчаніями объ образованіи и произношеніи слоговъ, но здѣсь Ломоносовъ, потерявъ изъ виду свою идею, начинаетъ далѣе говорить о знакахъ ударенія и титлахъ, также о сложныхъ буквахъ (напр. *щ*) и такимъ образомъ преждевременно касается правописанія, составляющаго у него предметъ 2-го наставленія.

Отъ слоговъ онъ переходитъ къ составленію изъ нихъ цѣлыхъ словъ или *реченій*, которыя и разсматриваетъ въ 4-й главѣ, озаглавленной: *О знаменательныхъ частяхъ слова*. Эта глава подала поводъ къ недоразумѣнію, которое долго держалось въ нашей ученой и учебной литературѣ, и произошло единственно отъ не довольно внимательнаго чтенія первыхъ страницъ грамматики Л—ва. Сколько разъ повторялось даже въ спеціальныхъ трудахъ (не исключая академическаго изданія этой грамматики въ 1885 г.), что подъ знаменательными частями слова онъ разумѣетъ имя и глаголъ въ противоположность остальнымъ, которыя называетъ служебными. Но такъ какъ тутъ же первымъ терминомъ явно означены въ одномъ мѣстѣ всѣ части рѣчи, то находили въ этой главѣ неясность или недоконченность въ отдѣлкѣ? Нельзя дѣйствительно отрицать, что въ изложеніи ея есть нѣкоторая сбивчивость, но если вникнуть въ дѣло, то оно вполнѣ выясняется.

Отъ членораздѣльныхъ звуковъ Ломоносовъ постепенно переходитъ къ болѣе и болѣе развивающимися сочетаніямъ

ихъ: изъ нераздѣлимыхъ частей языка образуются склады (слоги), которые сами по себѣ въ отдѣльномъ видѣ еще не имѣютъ знаменованія; изъ слоговъ же „рождаются *знаменательныя части слова, т.-е. реченія*“ (№ 29); наконецъ, „сложеніе знаменательныхъ частей слова или реченій производитъ *рѣчи*“ (по-нынѣшнему, предложенія), „полный разумъ въ себѣ составляющія“ (№ 77). Ясно, что реченія, или *слова вообще*, названы у него знаменательными частями языка, какъ такія сочетанія звуковъ, которыя уже сами по себѣ, отдѣльно взяты (не такъ, какъ слоги), имѣютъ значеніе.

Знаменательныя же части слова (терминъ, означающій у него и реченія и то, что мы теперь называемъ частями рѣчи) дѣлитъ онъ на два разряда: *главныя* и *служебныя*. Это съ несомнѣнною опредѣлительностью выражено имъ такъ: „слово человѣческое имѣетъ *осмь частей знаменательныхъ*“, и послѣ исчисленія этихъ частей рѣчи прибавлено: „сіи части слова, двѣ главныя и шесть *вспомогательныхъ* или *служебныхъ*, должны быть по своей необходимости во всякомъ языкѣ“. (№№ 46 и 47). Мѣсто, подавшее поводъ къ недоразумѣнію (№ 40), изложено такъ: „слово дано для того человѣку, чтобы свои понятія сообщать другому. И такъ понимаетъ онъ на свѣтѣ и сообщаетъ другому идеи вещей и ихъ дѣяній. Изображенія словесныхъ вещей называются *имена:* напр. *небо, вѣтръ, очи;* изображенія дѣяній, *глаголы:* напр. *синѣетъ, вѣетъ, сидитъ*. Итакъ понеже они всегда вещь или дѣяніе знаменуютъ, по справедливости *знаменательныя части слова* названы быть могутъ“.

Здѣсь можно отмѣтить только недомолвку или нѣкоторую неточность: вмѣсто „по справедливости“ слѣдовало сказать „по преимуществу“, какъ видно изъ дальнѣйшаго изложнія, гдѣ и остальныя, принимаемыя Ломоносовымъ, части рѣчи (мѣстоимѣніе, причастіе, нарѣчіе, предлогъ, союзъ и междометіе) положительно названы *знаменательными* же *частями слова*.

Разсуждая о разрядахъ словъ, Ломоносовъ бросаетъ любопытный взглядъ и на исторію языка. „Какъ всѣ вещи отъ начала въ маломъ количествѣ начиняются и потомъ присовокупленіями возрастаютъ, такъ и слово человѣческое, по мѣрѣ извѣстныхъ человѣку понятій, вначалѣ было тѣсно ограничено, и одними простыми реченіями довольствовалось. Но

съ приращеніемъ понятій и само по малу умножилось, что происходило *произвожденіемъ* и *сложеніемъ*“ (№ 51).

Въ остальной части 4-й главы Ломоносовъ продолжаетъ развивать понятія о языкѣ: объясняетъ значеніе рода и вида раздѣленія именъ на собственныя и нарицательныя, на существительныя и прилагательныя; далѣе, предъ нами проходятъ разные способы измѣненія словъ: степени сравненія (*разсудительный* степень вм. нынѣшняго термина *сравнительная* степень); числа, падежи (новый терминъ: *предложный* вм. *сказательный*), увеличительныя и „умалительныя“ имена; роды именъ; времена глаголовъ, лица, наклоненія (или „образы“) и залоги. Изъ понятія о перемѣнахъ окончаній глагола по этимъ отношеніямъ выводится понятіе о его *спряженіи;* потомъ упомянуто о причастіяхъ, о мѣстоименіи и объ, остальныхъ частяхъ рѣчи. Вѣрный плану своего введенія „О человѣческомъ словѣ вообще“, Ломоносовъ въ 1-мъ наставленіи иногда предлагаетъ философскія соображенія и при каждомъ новомъ предметѣ касается другихъ языковъ, не только европейскихъ, древнихъ и новыхъ, но часто и еврейскаго. Его замѣчанія относительно новыхъ языковъ не всегда точны, такъ какъ онъ за исключеніемъ нѣмецкаго не зналъ ихъ практически: напр. онъ думаетъ, что французское *u* въ lutte выговаривается такъ, какъ наше *ю* въ *мютостъ*. Но важно то, что Ломоносовъ уже предчувствуетъ значеніе сравнительной филологіи и по мѣрѣ возможности прибѣгаетъ къ ней съ первыхъ шаговъ въ объясненіи законовъ языка. Не менѣе важно, что онъ употребляетъ аналитическій методъ, восходя отъ единичныхъ явленій къ болѣе сложнымъ и отъ частнаго къ общему, напр. разобравъ „перемѣны“, случающіяся въ частяхъ рѣчи, кончаетъ главу замѣчаніемъ: „по всему сему раздѣляются части слова на *склоняемыя* и *несклоняемыя*“. Въ послѣдней (5-й) главѣ 1-го наставленія: „О сложеніи знаменательныхъ частей слова“ онъ излагаетъ только самыя общія понятія о предложеніи, которое называется *рѣчью,* о способахъ распространять его, о простыхъ и сложныхъ предложеніяхъ, наконецъ о періодахъ. Кончая свое I-е наставленіе, онъ какъ бы оглядывается на все его содержаніе и говоритъ: „здѣсь при вступленіи въ россійскую грамматику больше общаго понятія о человѣческомъ словѣ не требуется. Довольно для краткости знать, что *общая грамматика есть философ-*

ское понятіе всего человѣческаго слова; а особливая, какова россійская, есть знаніе, какъ говорить и писать чисто россійскимъ языкомъ по лучшему разсудительному его употребленію“ (курсивъ у самого Ломоносова). Его I-е наставленіе есть сокращенное изложеніе общей грамматики и притомъ съ фонетикою во главѣ ея. Хотя еще и не совсѣмъ сознательно и не совсѣмъ полно, онъ уже отличаетъ произносимый языкъ отъ писаннаго и посвящаетъ первому вступительную часть своего труда.

Со 2-го наставленія Ломоносовъ приступаетъ къ изложенію собственно русской грамматики и прежде всего къ правописанію, именно къ тому, чѣмъ въ его время (какъ дѣлается по большей части еще понынѣ) начиналась всякая частная грамматика. Здѣсь мы остановимся, такъ какъ предметъ 2-го наставленія относится уже къ другому отдѣлу нашего изслѣдованія, и говорить теперь о правописаніи было бы преждевременно. Поэтому на первый случай представлю за симъ лишь нѣсколько общихъ замѣчаній о грамматикѣ Ломоносова и ея источникахъ. Трудъ этотъ планомъ своимъ отличается отъ всѣхъ современныхъ трудовъ того же рода. Принадлежитъ ли идея этого плана исключительно самому Ломоносову, или она хотя отчасти заимствована? Постараюсь опредѣлить отношеніе его грамматики къ состоянію тогдашней филологической литературы вообще.

Откуда могъ онъ почерпнуть мысль о необходимости начинать грамматику свѣдѣніями о звукахъ человѣческой рѣчи и философскими понятіями о языкѣ, составляющими принадлежность общей грамматики? Съ перваго взгляда можно подумать, что такое убѣжденіе было вынесено имъ изъ знакомства съ германской ученой и учебной литературой, но ни Готшедъ, издавшій свою грамматику въ 1748 г., ни другіе извѣстные въ то время авторы по этой части не представляютъ ничего подобнаго. У нихъ могъ онъ научиться между прочимъ пріему приводить сравненія съ другими языками, что было особенно умѣстно въ отдѣлѣ о человѣческомъ словѣ вообще. Богаче въ отношеніи къ разработкѣ теоріи звуковъ и общей грамматики въ XVIII и уже въ XVII столѣтіяхъ были англійская, голландская и французская литературы. Въ Англіи, еще въ 1653 году, ученый епископъ Іоаннъ Валлисъ, профессоръ геометріи при Оксфордскомъ универ-

ситетѣ, издалъ по-латыни грамматику своего языка, передъ которою помѣстилъ „грамматико-физическій трактатъ о живой рѣчи или образованіи звуковъ“. Это сочиненіе имѣло большой успѣхъ, перепечатывалось не въ одной Англіи и въ XVIII вѣкѣ было очень извѣстно въ Европѣ. Вскорѣ послѣ Валлиса писалъ о томъ же врачъ Амманъ, уроженецъ Шафгаузена, поселившійся въ Голландіи; онъ, подобно Валлису, занимался обученіемъ глухонѣмыхъ и на основаніи своихъ наблюденій напечаталъ два сочиненія о звукахъ языка. Сюда по отсутствію въ грамматикѣ Ломоносова нѣкоторыхъ мѣткихъ указаній этихъ обоимъ ученыхъ, надобно полагать, что онъ съ ихъ изслѣдованіями знакомъ не былъ. Напротивъ, въ руки его, повидимому, попадались нѣкоторыя изъ французскихъ руководствъ общей грамматики, издававшихся во второй половинѣ XVII и въ первой половинѣ XVIII вѣка. Это предположеніе было уже выражено А. С. Будиловичемъ.

Очевидно однакожъ, что главнымъ источникомъ понятій о живой рѣчи и вообще о языкѣ послужили Ломоносову древніе писатели, Аристотель, Квинтиліанъ, Донатъ, Присціанъ, а можетъ быть, еще и другіе. Вѣрнѣйшій признакъ, ведущій къ этому заключенію, представляетъ терминологія Ломоносова. Самое различеніе понятій *слово* и *языкъ* взято у древнихъ: они для означенія отдѣльныхъ языковъ употребляли большею частью терминъ lingua (γλῶσσα), а въ общемъ смыслѣ говорили sermo, loquela (λόγος). По примѣру древнихъ писателей, Ломоносовъ, подобно Смотрицкому, для означенія того, что̀ мы называемъ слово (mot), употребляетъ исключительно имя реченіе (λέξις φωνή, vox vocabulum, dictio). Изъ того же источника объясняются его двоякія *части слова*: *нераздѣлимыя* (элементарные звуки и буквы) и *знаменательныя* (реченія, части рѣчи), а наконецъ и раздѣленіе послѣднихъ на два разряда, т.-е. на главныя и служебныя. Даже мыслью назвать главные отдѣлы своей грамматики *наставленіями* Ломоносовъ обязанъ древнимъ, которые ставили слово institutiones въ заглавіе своихъ грамматическихъ и реторическихъ трудовъ. Тому же примѣру послѣдовалъ въ позднѣйшее время, между многими другими, и Добровскій.

Донатъ, наставникъ св. Іеронима, жившій въ IV вѣкѣ, начинаетъ свою „Ars grammatica“ замѣткою De voce (о голосѣ). Правда, что у него вся эта глава ограничивается

двумя строками, но важна основная идея, которою воспользовался Ломоносовъ. Другой древній грамматикъ, Присціанъ, содержавшій въ 525 г. училище въ Константинополѣ, въ 1-й книгѣ своихъ Institutiones также разсматриваетъ прежде всего голосъ и его виды, потомъ значеніе и раздѣленіе буквъ; во 2-й же книгѣ онъ говоритъ о слогахъ, о различіи между ними и реченіями, а потомъ о предложеніи и частяхъ его. Въ началѣ 1-й книги онъ между прочимъ замѣчаетъ: „буква есть малѣйшая часть составного звука... что короче всего, способнаго дѣлиться, то нераздѣлимо. Можемъ и такъ опредѣлить: буква есть звукъ (въ подл. vox), который можетъ быть написанъ какъ нераздѣлимый“. Фонетическія понятія древнихъ ведутъ свое начало еще отъ Платона и Аристотеля; послѣдній изложилъ ихъ преимущественно въ своихъ сочиненіяхъ; *о душѣ*, *объ исторіи животныхъ* и въ піитикѣ. По его ученію, *голосъ*, *φονή* долженъ быть отличаемъ отъ звука и шума вообще, *ψόφος*; отъ голоса же, далѣе, отличается рѣчь, *λόγος*, *διάλεκτος*, двоякимъ образомъ: наружно, такъ какъ она есть артикулованный языкомъ голосъ; внутренно, такъ какъ она не только имѣетъ значеніе (что свойственно и голосу животныхъ), но служитъ символомъ понятія. Элементарный звукъ, нераздѣлимый тонъ голоса, называется у Аристотеля, какъ и у Платона, *στοιχεῖον* (elementum); употребляемые же для изображенія его знаки суть *γράμματα* (literae), т.-е. буквы. На этомъ основаніи и Присціанъ говоритъ: „Различіе между элементами“ (нераздѣлимыми частями слова, по Ломоносову) „и буквами въ томъ состоитъ, что элементы собственно называются *выговорами* (звуками), а знаки ихъ — буквами. Неправильно зовутъ буквы элементами, а элементы — буквами. Это различіе не вполнѣ сознано и Ломоносовымъ, такъ что онъ, подобно позднѣйшихъ латинскимъ грамматикамъ, для *нераздѣлимыхъ частей слова* не знаетъ другого названія, кромѣ буквъ или „письменъ“ (терминъ Смотрицкаго, иногда удерживаемый и Ломоносовымъ), и въ главахъ о голосѣ и выговорѣ разсматриваетъ только *произношеніе буквъ;* даже въ таблицѣ звуковъ по органамъ онъ употребляетъ названіе *буквъ*. Когда же ему необходимо нужно отличить понятіе звука, то онъ прибѣгаетъ къ выраженіямъ: *отмѣна голоса*, *выговоръ*, *произношеніе*, или говоритъ, что такія-то буквы произносятся такимъ-то, напр. чистымъ и открытымъ, *звономъ*.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что Ломоносовъ былъ знакомъ съ піитикой Аристотеля, слѣдовательно, многія понятія о языкѣ могъ почерпнуть непосредственно изъ этого источника; другія могъ заимствовать изъ латинскихъ грамматиковъ или изъ писателей новаго времени, которые, разумѣется, сами также болѣе или менѣе пользовались древними. Такъ и представленная Ломоносовымъ таблица гласныхъ и согласныхъ съ раздѣленіемъ ихъ по органамъ, конечно, была новостью только на русскомъ языкѣ: подобную (но безъ разрядовъ зубныхъ и язычныхъ) находимъ мы уже у Валлиса въ названномъ выше трактатѣ его о языкѣ. Такую же таблицу, но съ нѣкоторыми измѣненіями, составилъ вскорѣ послѣ того докторъ Амманъ.

Понятіе о словѣ (реченіи), какъ *знаменательной* части языка (*φωνὴ σημαντιχή*), также высказано еще Аристотелемъ и потомъ не разъ повторялось грамматиками. Такъ Присціанъ говоритъ: „Реченіе (dictio) есть меньшая часть стройной рѣчи, т.-е. въ порядкѣ расположенной. Реченіе же отличается отъ слога не только тѣмъ, что слогъ есть часть реченія, но и тѣмъ, что реченіе выражаетъ, даетъ разумѣть нѣчто. Слогъ никогда самъ по себѣ не можетъ что-либо значить: это — свойственно только реченію“. Вотъ полное объясненіе Ломоносовскаго термина—*знаменательная часть слова:* онъ служитъ синонимомъ *реченія* и съ тѣмъ вмѣстѣ замѣняетъ терминъ *часть рѣчи* (pars orationis). Впрочемъ это послѣднее названіе уже употреблялось во время Ломоносова, чему доказательствомъ служитъ напечатанная въ 1752 г. по-русски французская грамматика Рестò въ переводѣ Василія Теплова, гдѣ „parties du discours“ названы „частями рѣчи“. Но Ломоносовъ, для единообразія своей терминологіи, предпочелъ терминъ *части слова*, употребленный Смотрицкимъ, который подъ *словомъ* разумѣетъ рѣчь или предложеніе; только къ этому термину Ломоносовъ, по понятію древнихъ, прибавилъ аттрибутъ знаменательности.

Извѣстно, что преобразователю нашей письменной рѣчи долго ставили въ особенную заслугу раздѣленіе частей рѣчи на два принятые имъ разряда *главныхъ* (или, какъ говорили, знаменательныхъ) и *служебныхъ*, при чемъ иногда замѣчали, что онъ за сто лѣтъ до Беккера умѣлъ различить Begriffswörter и Formwörter. Но исторія грамматики показываетъ,

что это различеніе, хотя и не въ столь окончеиной формѣ, восходитъ до отдаленной древности. Еще Платонъ признавалъ только двѣ части рѣчи: *имя* и *глаголъ*, при чемъ онъ подъ этими терминами разумѣлъ вообще подлежащее и сказуемое. У Аристотеля ученіе о частяхъ рѣчи развито уже нѣсколько опредѣленнѣе: онъ принимаетъ *имя*, *глаголъ*, *членъ* и *союзъ*, и называетъ первые два *знаменательными звучностями* (*σημαντικαὶ φωναί*), а послѣдніе противопоставляетъ имъ подъ именемъ *незнаменательныхъ* (*ἄσημοι*). Выше уже было показано, что Ломоносовъ беретъ слово *знаменательный* въ болѣе обширномъ смыслѣ, отмѣчая имъ реченіе вообще, что̀ также согласно съ Аристотелемъ. Дѣленіе же знаменательныхъ частей слова по ихъ смыслу на два разряда встрѣчается у позднѣйшихъ латинскихъ грамматиковъ. Донатъ, исчисливъ 8 частей рѣчи, прямо говоритъ: „Изъ нихъ двѣ *главныя* (principales), имя и глаголъ“. Присціанъ также учитъ, что, по мнѣнію діалектиковъ, собственно двѣ только части рѣчи, имя и глаголъ, потому что онѣ однѣ сами по себѣ могутъ составлять полное предложеніе (plenam faciunt orationem), остальныя же называются *однозначащими* (consignificantia), т.-е. второстепенными, несамостоятельными. Вѣроятно, ту же мысль нашъ ученый нашелъ у кого-нибудь изъ ближайшихъ къ его времени западно-европейскихъ грамматиковъ. Въ тогдашнихъ нѣмецкихъ трудахъ этого рода, ни у Готшеда ни у его предшественниковъ, мы не встрѣчаемъ ничего подобнаго, но другое представляютъ французы: въ библіотекѣ Ломоносова была грамматика французскаго языка, съ нѣмецкимъ текстомъ, подъ заглавіемъ: „Nouvelle parfaite grammaire royale française et allemande. Neue und vollkommene königliche französizche Grammatica“, изданная въ Берлинѣ, въ 1736 году.

Въ одномъ изъ послѣдующихъ изданій этой грамматики (1725) послѣ обыкновеннаго исчисленія частей рѣчи сказано: „одинъ изъ новѣйшихъ грамматиковъ, отецъ Бюффье, признаетъ за истинныя и дѣйствительныя части рѣчи только *имя* и *глаголъ*. Прочія отдѣляетъ онъ подъ именемъ *дополнительныхъ* и *видоизмѣняющихъ* (suppletivi и modificativ): къ первымъ онъ причисляетъ членъ и междометіе, къ послѣднимъ нарѣчіе, предлогъ и союзъ. Мѣстоименіе и причастіе онъ относитъ къ имени“. Ломоносовъ, разсуждая о частяхъ рѣчи и

отличивъ между ними двѣ *главныя*, хотя и соединяетъ всѣ остальныя подъ именемъ *вспомогательныхъ* или *служебныхъ*, но также дѣлитъ ихъ на два разряда: сперва говоритъ о предлогахъ и союзахъ, какъ показывающихъ отношенія между главными частями рѣчи, а потомъ о мѣстоименіи, нарѣчіи и междометіи, какъ служащихъ только къ болѣе краткому выраженію мыслей. Впрочемъ, онъ, слѣдуя системѣ древнихъ, которая, съ немногими отступленіями, держалась во все продолженіе среднихъ вѣковъ, принимаетъ не болѣе и не менѣе *восьми* частей рѣчи. Исключивъ членъ, какъ не существующій въ русскомъ языкѣ, онъ исчисляетъ ихъ въ томъ же точно порядкѣ, въ какомъ онѣ вообще ставились въ тогдашнихъ грамматикахъ, т.-е. имя, мѣстоименіе, глаголъ, причастіе, нарѣчіе, предлогъ, союзъ и междометіе. Совершенно то же число и тотъ же порядокъ *частей слова* находимъ и у Смотрицкаго. Хотя Ломоносовъ вслѣдъ за такимъ исчисленіемъ и утверждаетъ, что греческіе грамматики считали девять частей рѣчи (т.-е. прибавляя членъ), но въ этомъ онъ ошибается: древніе греческіе писатели, даже позднѣйшей Александрійской школы, никогда не считали частью рѣчи *междометіе*, которое римляне ввели взамѣнъ недоставшаго у нихъ члена (чтобы удержать завѣтное число 8); въ греческой грамматикѣ междометіе очутилось между частями рѣчи лишь незадолго передъ временемъ Ломоносова.

Несмотря однакожъ на нѣкоторыя черты, указывающія на заимствованія въ грамматикѣ Ломоносова, сравненіе ея со множествомъ пересмотрѣнныхъ мною руководствъ этого рода, оставшихся отъ XVI и XVII вѣка, удостовѣряетъ, что трудъ его есть вполнѣ самостоятельный и зрѣло обдуманный плодъ внимательнаго изученія. Грамматика Ломоносова оригинальна и по своему расположенію и по самой разработкѣ законовъ языка. Здѣсь не мѣсто входить въ болѣе подробный разборъ того и другого, но нельзя оставить безъ возраженія слѣдующихъ словъ, читаемыхъ въ предисловіи покойнаго Давыдова къ академическому изданію этой грамматики, напечатанному въ 1855 году: „Способъ, употребленный имъ (Ломоносовымъ) въ изслѣдованіяхъ грамматическихъ, былъ въ его время общій у западныхъ ученыхъ: сначала излагаетъ онъ философское понятіе о словѣ человѣческомъ, потомъ переходитъ къ русской грамматикѣ. Во внесеніи въ грамматику философскаго осно-

ванія могъ служить ему образцомъ Куръ-де-Жебеленъ, а въ практическомъ воззрѣніи на нее, какъ на средство правильно говорить и писать — онъ послѣдовалъ школѣ Готшеда".

Тщательныя изысканія приводятъ къ противоположнымъ заключеніямъ: 1) между грамматиками предшествовавшаго времени мнѣ не удалось найти ни одной, которая бы начиналась изложеніемъ „философскаго понятія" о языкѣ вообще. Существовали уже философскія грамматики, но онѣ были изданы отдѣльно, въ другомъ распорядкѣ и объемѣ. Такихъ грамматикъ новаго времени, гдѣ бы прежде всего шла рѣчь о голосѣ и звукахъ, также не оказалось, за исключеніемъ появившейся еще въ XVII столѣтіи уже упомянутой мною англійской грамматики Валлиса на латинскомъ языкѣ, которая, какъ я уже замѣтилъ, повидимому, не была извѣстна Ломоносову.

Болѣе вѣроятно, что онъ зналъ книгу Бернара Лами De l'art de parler, въ которой первая глава разсматриваетъ „органы голоса: какъ образуется слово"; но трудно сказать положительно, чтобъ онъ что-нибудь извлекъ и изъ этой книги, преимущественно, посвященной риторикѣ.

2) Куръ-де-Жебеленъ никакъ не могъ служить Ломоносову образцомъ, потому что началъ издавать свои замѣчательные филологическіе труды только черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ смерти нашего академика († 1765): по имѣющимся у насъ показаніямъ каталоговъ, первое сочиненіе названнаго французскаго ученаго, вошедшее въ его многотомный сборникъ Monde primitif, появилось не прежде 1773 года. Нѣкоторыя сходныя черты въ трудахъ Ломоносова и Жебелена объясняются знакомствомъ того и другого съ существовавшею до нихъ грамматическою литературою. Такъ въ своей всеобщей грамматикѣ послѣдній, указавъ на мнѣніе древнихъ объ имени и глаголѣ, прибавляетъ: „всѣ прочія части рѣчи считались у нихъ только подчиненными" (toutes les autres n'étaient qu'en sous ordre). Мы уже видѣли, что этотъ взглядъ передается и въ нѣкоторыхъ другихъ французскихъ грамматикахъ XVIII вѣка. Ломоносову принадлежитъ въ этомъ случаѣ только счастливый выборъ выраженія *служебныя части слова*. Но едва ли ему было извѣстно и имя Куръ-де-Жебелена, который родился въ 1725 г. и слѣдовательно было еще молодымъ человѣкомъ, когда нашъ академикъ уже собиралъ матеріалы для своей грамматики.

3) По опредѣленію Ломоносова, русская грамматика „есть знаніе, какъ говорить и писать чисто россійскимъ языкомъ *по лучшему, разсудительному его употребленію*“. Готшедъ напротивъ учитъ, что грамматика есть указаніе, какъ должно правильно и красиво говорить и писать на языкѣ извѣстнаго народа *по лучшему его нарѣчію и по соглашенію лучшихъ его писателей.*

Очевидно, что оба эти опредѣленія расходятся во взглядѣ на основанія правильнаго обращенія съ языкомъ. Самое слово *употребленіе* показываетъ, что Ломоносовъ въ пониманіи задачи грамматики болѣе приближался къ французамъ, у которыхъ usage всегда считался однимъ изъ самыхъ сильныхъ авторитетовъ.

Названный уже выше іезуитъ Бюффье, котораго „Grammaire française sur un plan nouveau“ пользовалась въ XVIII вѣкѣ особеннымъ уваженіемъ, въ началѣ ея подробно разсуждаетъ о значеніи и цѣли грамматики; особенно останавливается онъ именно на употребленіи, и въ главѣ: „Что такое употребленіе и откуда оно берется въ разныхъ языкахъ“ замѣчаетъ между прочимъ: „надобно со всѣми составителями грамматикъ признать, что въ каждомъ языкѣ есть *и хорошее и дурное* употребленіе“, и потомъ пространно разбираетъ, въ чемъ заключается хорошее употребленіе. Мы видимъ, что Ломоносовъ точно такъ же обособляетъ въ своемъ понятіи разсудительное и лучшее употребленіе, но въ выводѣ своемъ относительно опредѣленія грамматики онъ стоитъ гораздо выше Бюффье, который пришелъ къ такому заключенію: „Грамматика есть сборъ размышленій (un amas de réflexions), сдѣланныхъ и приведенныхъ въ порядокъ для преподаванія и изученія языка“.

Мы не знаемъ, была ли въ рукахъ Ломоносова грамматика Готшеда, въ первый разъ напечатанная въ 1748 г., т.-е. въ то время, когда нашъ ученый уже былъ занятъ приготовительными работами для своего труда; но во всякомъ случаѣ очевидно, что грамматика Ломоносова оставалась совершенно независимою отъ вліянія Готшедовской. Окончу замѣчаніемъ, что нѣкоторые недостатки первой и та доля заимствованій, какая въ ней оказывается, нисколько не могутъ уменьшать въ нашихъ глазахъ заслугъ Ломоносова по языку: русскіе въ правѣ гордиться появленіемъ у себя въ срединѣ XVIII

столѣтія такой грамматики, которая не только выдерживаетъ сравненіе съ однородными трудами за то же время у другихъ народовъ, давно опередившихъ Россію на поприщѣ науки, но и обнаруживаетъ въ авторѣ удивительное пониманіе началъ языковѣдѣнія. *Гротъ.*

Достоинство и значеніе грамматики Ломоносова.

Въ годъ основанія перваго русскаго университета въ Москвѣ, въ 1755 году, является и первая русская грамматика безсмертнаго Ломоносова, посвященная великому князю Павлу Петровичу. Изданій этой грамматики было при жизни сочинителя и по кончинѣ его — одиннадцать.

Переведена она на нѣмецкій языкъ (1764) Ставенгагеномъ; на французскій въ 1769 г.; на новогреческій (1804) Михаиломъ Анастасомъ. Всѣ послѣдующія русскія грамматики должны считать ее своею родоначальницею.

Изъ посвященія можно видѣть, какъ смотрѣлъ Ломоносовъ на грамматику. „Тупа ораторія, — говоритъ онъ, — косноязычна поэзія, неосновательна философія, непріятна исторія, сомнительна юриспруденція безъ грамматики“. — О языкѣ самомъ, котораго употребленіе скрѣплялъ онъ правилами, прибавляетъ: „тончайшія философскія воображенія и разсужденія, многоразличныя естественныя свойства и перемѣны, бывающія въ семъ видимомъ строеніи міра и въ человѣческихъ обращеніяхъ, имѣютъ у насъ пристойныя и вещь выражающія рѣчи. — Кто отчасу далѣе въ немъ углубляется, употребляя предводителемъ общее философское понятіе о человѣческомъ словѣ, тотъ увидитъ безмѣрно широкое поле, или, лучше сказать, едва предѣлы имѣющее море“.

Грамматика Ломоносова раздѣлена, вѣроятно, по примѣру Квинтиліана, на *наставленія*. Содержаніе шести наставленій въ грамматикѣ слѣдующее: 1) О человѣческомъ словѣ вообще. 2) О чтеніи и правописаніи россійскомъ. 3) О имени. 4) О глаголѣ. 5) О вспомогательныхъ и служебныхъ частяхъ слова. 6) О сочиненіи частей слова.

Первое наставленіе, — о человѣческомъ словѣ вообще, раздѣлено на пять главъ: 1) о голосѣ; 2) о выговорѣ и

нераздѣлимыхъ частяхъ человѣческаго слова; 3) о сложеніи нераздѣлимыхъ частей слова; 4) о знаменательныхъ частяхъ человѣческаго слова; 5) о сложеніи знаменательныхъ частей слова. Въ этомъ направленіи заключаются основанія общей или философской грамматики.

Въ первой главѣ, о голосѣ, показано измѣненіе его *выходкою*, *напряженіемъ*, *протяженіемъ*, *образованіемъ*.

Выходка состоитъ въ возношеніи и опущеніи голоса, напряженіе въ громкости и тихости, протяженіе въ долготѣ и краткости, образованіе въ отмѣнахъ или измѣненіяхъ голоса, по которымъ мы издали узнаемъ знакомыхъ намъ людей.

Во второй главѣ, о выговорѣ и нераздѣлимыхъ частяхъ человѣческаго слова, разобраны, во-первыхъ, органы, устроенные для выговора: губы, зубы, языкъ, нёбо и гортань съ язычкомъ и со скважинами въ ноздри; во-второмъ, буквы, какъ гласныя, такъ и согласныя, которыми выражаются нераздѣлимыя части слова.

За средоточіе буквъ Ломоносовъ принимаетъ *а;* съ одной стороны этой гласной — *е* и *и*, съ другой — *о* и *у*. То же самое повторяемъ мы и чрезъ сто лѣтъ.

Между гласными различаются *дебелыя*, или тупыя (а, е, ы, о, у) и *тонкія*, или острыя (я, ѣ, и, ю, ѭ).

Согласныя по органамъ раздѣляются на *губныя* (б, в, м, п, ф), *зубныя* (ж, з, с, ш), *язычныя* (д, л, н, р, т, ц, ч), *поднебныя* (г, к), *гортанныя* (х).

Съ этимъ раздѣленіемъ вполнѣ согласиться нельзя: буква *н* не просто язычная, а произносится съ содѣйствіемъ носового отверстія, равно *ц* и *ч* — согласныя сложныя и причисляются къ язычно-зубнымъ по окончательной буквѣ (*тс*, *тш*). Названныя поднёбныя буквы: *г*, *к*, принадлежатъ къ гортаннымъ.

Сверхъ того согласныя *твердыя* (п, ф, с, ш, р, т, к) различаются отъ *мягкихъ* (б, в, м, ж, з, д, л, н, г).

Въ третьей главѣ, о сложеніи нераздѣлимыхъ частей слова, разсматриваются *склады* и изъ нихъ составляемыя *реченія*. — Возвышеніе и пониженіе складовъ (№ 31), на чемъ основывается стихосложеніе тоническое, различено отъ долготы и краткости, свойствъ метрическаго стихосложенія. „Выходка въ различеніи складовъ принимается у всѣхъ извѣстныхъ народовъ, протяженіе у нѣкоторыхъ".

Въ слѣдующемъ § 32 упоминается объ удареніи, зависящемъ отъ повышенія и пониженія, „когда въ реченіи одинъ складъ или два (напр. въ нѣмецкомъ языкѣ) выше другихъ голосовъ восходятъ“.

Ломоносовъ даже призналъ (§ 34) разность складовъ чрезъ протяженіе въ древнихъ языкахъ — греческомъ и римскомъ, „такъ что и стихотворство ихъ, — говоритъ онъ, — на томъ основано, не взирая на ударенія, которыя посему не такъ чувствительны были, какъ протяженія. Въ нынѣшнее время у европейскихъ народовъ удареніе преимущество одержало“.

Столь правильное и ясное воззрѣніе на различіе удареній отъ протяженія имѣлъ геніальный преобразователь языка нашего за сто лѣтъ, между тѣмъ какъ въ двадцатыхъ годахъ происходилъ ученый споръ о томъ, возможенъ ли у насъ гекзаметръ, основанный на протяженіи складовъ, а нѣкоторые даже и въ настоящее время не различаютъ протяженія отъ удареній.

Несмотря на это, самъ великій законодатель языка нашего, излагая правила стопосложенія десятка полтора лѣтъ до грамматики, смѣшалъ метрическое стопосложеніе древнихъ съ тоническимъ, свойственнымъ русскому стиху, и ввелъ въ наше стихосложеніе названія стопъ греческихъ.

Глава четвертая, — о знаменательныхъ частяхъ человѣческаго слова, всегда казалось мнѣ удивительною. Здѣсь Ломоносовъ, какъ въ наше время Беккеръ, за основанныя части слова принимаетъ имя и глаголъ: „изображенія словесныя вещей называются *имена;* напр. небо, вѣтръ, очи; изображенія дѣяній — *глаголы;* напр. синѣетъ, вѣетъ, видятъ“.

Имя (какъ существительное, такъ и прилагательное) и глаголъ (§ 43) называются *знаменательными,* или *главными,* прочія части слова *служебными.* Поэтому Беккеровы Begriffswörter и Formwörter различены Ломоносовымъ еще за сто лѣтъ.

Затѣмъ слѣдуетъ объясненіе, въ чемъ состоитъ *произхожденіе* и *сложеніе* именъ и глаголовъ; *степеней* именъ прилагательныхъ: положительнаго, разсудительнаго и превосходнаго; *чиселъ* и *падежей,* именъ *увеличительныхъ* и *умалительныхъ, родовъ.*

Замѣчаніе Ломоносова о родахъ (§§ 58 и 59) показываетъ, что онъ не чуждъ былъ не только философскаго, но и сравнительнаго языкоученія:

„Пристойно кажется, чтобы бездушнымъ вещамъ быть ни мужескаго, ни женскаго, но нѣкоего третьяго рода, каковъ есть у насъ родъ средній: море, небо, сердце, поле. Однако сіе такъ безпорядочно, что и средняго рода имена животныхъ знаменуютъ: дитя, жеребя.

„Хотя раздѣленіе родовъ во многихъ языкахъ употребительно: однако слову человѣческому нѣтъ въ томъ необходимой нужды. Сіе явствуетъ, первое, изъ того, что они безпорядочны, второе, языки только мужескій и женскій родъ имѣютъ, какъ итальянскій и французскій; третіе, въ нѣкоторыхъ языкахъ весьма мало отмѣны или отнюдь нѣтъ никакихъ родовъ раздѣленія. Такъ въ англійскомъ языкѣ роды едва различаются, и то въ нѣкоторыхъ мѣстоименіяхъ. У турковъ и персовъ имена всѣ одного общаго рода“.

Времень въ русскомъ языкѣ принято первою грамматикою нашею десять. *Лица, наклоненія, залоги* не представляютъ никакихъ особенностей. *Спряженій* Ломоносовъ принимаетъ два, различая ихъ по 2-му лицу единственнаго числа настоящаго времени изъявительнаго наклоненія. Основаніе вѣрное и русскому языку свойственное.

Глава пятая, о сложеніи знаменательныхъ частей слова, содержитъ начала синтаксиса, т.-е. понятія о *предложеніи простомъ* и *сложномъ*, о *перенось* и *опущеніи*. Такъ и въ общесравнительной грамматикѣ, изданной отдѣленіемъ, объясненіе предложенія предшествуетъ частямъ рѣчи; виды же и всѣ члены предложенія, во всей ихъ подробности, составляютъ предметъ синтаксиса.

Первое наставленіе, излагающее вкратцѣ общую или философическую грамматику, Ломоносовъ заключаетъ словами: „общая грамматика есть философское понятіе всего человѣческаго слова; а особливая, какова россійская, есть знаніе, какъ говорить и писать чисто россійскимъ языкомъ по лучшему, разсудительному его употребленію“.

Наставленіе второе, о чтеніи и провописаніи россійскомъ, состоитъ изъ пяти главъ.

Первая — о азбукѣ россійской. Считая (§ 85) буквы: і, щ, э, ю, лишними, о буквѣ э Ломоносовъ говоритъ: „Ежели для иностранныхъ выговоровъ вымышлять новыя буквы, то будетъ наша азбука съ китайскую“.

Двоегласныя справедливо раздѣляются на явственныя (*ай*,

ей, ій и т. д.) и потаенныя *(ъ, ю, я)*, въ которыхъ *й* сливается съ слѣдующею гласною. Это подраздѣленіе подтверждается другими языками, напр. въ нѣмецкомъ jeder, Jugend представлятъ примѣръ потаенныхъ. — Слоги *ей*, (моей), *юй* (воюй), *яй* (присвояй) принимаются за троегласныя.

Не ускользнула отъ вниманія Ломоносова и измѣняемость въ словопроизводствѣ и спряженіяхъ буквъ: *г, ж, к, х, ц, ч, ш*.

Вторая глава (§§ 93—100), о произношеніи буквъ россійскихъ, можетъ быть переписана въ современныхъ грамматикахъ безъ малѣйшей перемѣны, по причинѣ своей вѣрности. О произношеніи буквы *о* безъ ударенія сказано весьма основательно: выговаривается какъ *а, нѣсколько смѣшанное* съ *о*, а не просто *а*, какъ учатъ наши грамматики.

Третья глава о складахъ и реченіяхъ. Здѣсь замѣчательно раздѣленіе реченій на слоги, что необходимо бываетъ при переносѣ ихъ изъ одной строки въ другую, основанное на различеніи *начала, сложенія, окончанія* и *усугубленія* буквъ (§ 102).

Четвертая глава, о знакахъ, ничего особенно замѣчательнаго не заключаетъ.

Пятая глава, о правописаніи, предлагаетъ много любопытныхъ замѣчаній. Между прочими правилами весьма важно слѣдующее: „Чтобъ не закрывались совсѣмъ слѣды произведенія и сложенія реченій“. А у насъ были покушенія писать такъ, какъ выговариваемъ.

Московское нарѣчіе (§ 111), „для своей отмѣнной красоты, прочимъ справедливо предпочитается, а особливо выговоръ буквы *о* безъ ударенія много пріятнѣе.“.

Различіе буквъ *е* и *я* въ родахъ прилагательныхъ: *е* въ мужскихъ, *я* — въ женскихъ и среднихъ, указано Ломоносовымъ (§ 112).

Лѣчу, лѣчитъ отличается правописаніемъ отъ *лечу, летѣть*. О согласныхъ *з* и *с* въ предлогахъ не опущено правило: „писать передъ мягкими *з* — *воз*ному, *из*вергаю, передъ твердыми *с* — *вос*кресаю, *ис*числяю“ (§ 123).

О переходѣ именъ съ предлогами въ нарѣчія преподаны вѣрныя правила (§ 125): 1) когда предлогъ стоитъ не съ пристойнымъ падежомъ, напр. *в-другъ*, ибо и никакой другой предлогъ съ именительнымъ падежомъ не соединяется; 2) когда отъ надлежащаго знаменованія въ сложеніи отходитъ, напр.

вмѣстѣ: ибо здѣсь разумѣется купно; и такъ писать должно— жить *вмѣстѣ* съ братомъ и жить въ *мѣстѣ* многолюдномъ; 3) ежели предлогъ стоитъ передъ именемъ, въ другихъ случаяхъ неупотребительнымъ: *вдолъ, вкосъ.*

Наставленіе третье, о имени, заключается въ семи главахъ. Первая — о родахъ именъ. Увеличительнымъ именемъ: мужчина, старичина, приписанъ женскій родъ, вопреки нашему употребленію; увеличительныя на *ище:* домище, бабище и т. п., принимаются за средній родъ.

Вторая глава о склоненіяхъ, которыхъ Ломоносовъ принимаетъ пять. Въ продолженіе ста лѣтъ многіе слѣдовали Шлёцерову раздѣленію всѣхъ флексій именъ на три склоненія; но теперь, по глубокомъ и подробномъ изслѣдованіи окончаній именъ существительныхъ и прилагательныхъ, мы возвращаемся къ системѣ склоненій творца разсматриваемой грамматики.

Въ третьей главѣ содержатся „особливыя правила склоненій“, доселѣ весьма поучительныя и разрѣшающія спорные грамматическіе вопросы. Такъ напр. нельзя не согласиться съ слѣдующими замѣчаніями (§§ 167—170).

„Происшедшія отъ глаголовъ употребительнѣе имѣютъ въ родительномъ *у,* и тѣмъ больше оное принимаютъ, чѣмъ далѣе отъ славянскаго отходятъ: а славянскія, въ разговорахъ мало употребляемыя, лучше удерживаютъ *а:* размах*у,* час*у,* взгляд*у,* визг*у,* груз*у,* попрек*у,* перенос*у,* возраст*у,* вид*у,* трепет*а.*

„Сіе различіе древности словъ и важности знаменуемыхъ вещей весьма чувствительно, и показываетъ себя нерѣдко въ одномъ имени. Ибо мы говоримъ: Святаго Дух*а,* человѣческаго долг*а,* ангельскаго глас*а.* Напротивъ того свойственнѣе говорится: розоваго дух*у,* прошлогодняго долг*у,* птичьяго голос*у.*

„Имена собирательныя и тѣхъ вещей, которыя по мѣрѣ, по числу или по вѣсу раздѣляются, въ родительномъ больше кончаются на *у:* анис*у,* бархат*у,*... воск*у,*... квас*у,*... льд*у,*...

„Время и мѣсто значащія существительныя по большей части въ род. на *у* склоняются: базар*у,* берег*у*... перед*у*... вечер*у*...“

Полезно замѣтить и слѣдующій §184: „предложный единств. п. *ѣ* перемѣняетъ часто на *у,* когда значитъ мѣсто или время,

а особливо тѣхъ именъ, которыя *у* въ род. имѣютъ (кромѣ иностранныхъ): на берег*у*, на верх*у*, въ вечеру... на луг*у*... на песк*у*...“

И здѣсь Ломоносовъ прибавляетъ: „гдѣ россійскій языкъ къ славянскому клонится, окончаніе на *ъ* преимуществуетъ... жить въ дом*ѣ* Бога вышняго...“

Четвертая глава: о уравненіяхъ.

Нельзя не остановиться на § 220. „Нѣкоторыя прилагательныя по разности знаменованія имѣютъ разныя разсудительныя (сравнительныя ст.): добръ, т.-е. хорошъ, — лучше, а добръ, или милостивъ, — добрѣе; красенъ, т.-е. цвѣту краснаго, — краснѣе, а красенъ, или пригожъ, — краше“.

Въ пятой главѣ излагается „произвожденіе притяжательныхъ, отечественныхъ и отеческихъ именъ, и женскихъ отъ мужскихъ“.

Одно замѣчаніе объ именахъ отечественныхъ, или родину значащихъ, можно внести и въ наши грамматики, именно (§ 229): „Многіе мѣста именъ отечественныхъ не имѣютъ, а особливо незнатныя: Клинъ, Можайскъ, Верея и проч., и для того лучше употребляются оныя имена въ род. ед. съ предлогомъ *изъ:* изъ Клина, изъ Можайска, изъ Вереи“.

Шестая глава: о именахъ увеличительныхъ и умалительныхъ.

Говоря объ окончаніяхъ на *ишко* и *енцо*, Ломоносовъ прибавляетъ, что эти имена „рода суть сомнительнаго, т.-е. иные сочиняютъ съ ними прилагательныя по родамъ именъ, отъ коихъ умалительныя происходятъ: нашъ столишко, наша скатертишко, старое пивенцо“ (§ 246).

Седьмая глава: о именахъ числительныхъ.

Не укрылось отъ вниманія Ломоносова различіе, происходящее отъ ударенія, числительныхъ (§ 258): девятью́, пятью́, десятью́, и дéвятью, пя́тью, дéсятью; первыя суть творительные падежи, другія — нарѣчія.

Наставленіе четвертое: о глаголѣ.

Въ этомъ наставленіи заключается пять главъ. Первая глава — о свойствахъ глагола вообще.

Это наставленіе слабѣе другихъ, хотя и тутъ встрѣчаются слѣды геніальнаго устроителя языка. Главный недостатокъ изслѣдованій о глаголѣ происходитъ отъ опущенія видовъ, которые различены были Мелетіемъ. „Виды глагола суть два — говоритъ онъ (л. 110, изд. 1721): — первообразный, иже и со-

вершенный, яко: чту, стою и проч., и производный. Производный сугубъ есть: онъ убо начинательный, яко: читаю, вставаю, поучаю и проч.“ Взамѣнъ видовъ въ грамматикѣ нашей принято десять временъ: восемь отъ простыхъ, два отъ сложныхъ. Отъ простыхъ: 1) настоящее (бросаю), 2) прошедшее неопредѣленное (бросалъ), 3) прошедшее однократное (бросилъ), 4) давнопрошедшее первое (брасывалъ), 5) давнопрошедшее второе (бывало бросалъ), 6) давнопрошедшее третіе (бывало брасывалъ), 7) будущее неопредѣленное (буду бросать), 8) будущее однократное (брошу). Отъ сложныхъ: 6) прошедшее совершенное (написалъ) и 10) будущее совершенное (напишу).

Удивительно, что самый проницательный умъ не замѣтилъ ложность этой системы, въ чемъ послѣднія два времени особенно должны были убѣдить. Такъ какъ систему десяти временъ весьма немногіе глаголы оправдывали, то Ломоносовъ принужденъ былъ сдѣлать слѣдующее замѣчаніе: „Въ россійскомъ языкѣ глаголы почти всѣ неполные, т.-е. либо прошедшаго однократнаго, либо совершеннаго, либо давнопрошедшаго времени и отъ нихъ происходящихъ не имѣютъ“. То же повторяется въ § 425. По этой самой причинѣ онъ различалъ въ неокончательномъ наклоненіи три наклоненія: неопредѣленное, однократное и сомнѣнное.

Спряженія установлены Ломоносовымъ правильно. Онъ принимаетъ два спряженія и различаетъ ихъ, согласно съ свойствомъ русскаго языка, по окончаніямъ изъяв. н. наст. вр. ед. ч. 2-го лица: перваго глаголы кончаются на *ешь*, второго на *ишь*. Послѣ многоразличныхъ системъ русскаго глагола, мы въ спряженіяхъ соглашаемся съ нашею грамматикою, принимая только *виды*, вмѣсто десяти временъ.

Глава вторая: о первомъ спряженіи простыхъ глаголовъ. Какъ внимательно отдѣлялъ Ломоносовъ русскій языкъ отъ старославянскаго, видно изъ многочисленныхъ замѣчаній въ его грамматикѣ. Къ наблюденіямъ этого рода принадлежитъ и слѣдующее касательно дѣепричастій (§§ 351 и 388):

Дѣепричастія на *ючи* пристойнѣе у точныхъ россійскихъ глаголовъ, нежели у тѣхъ, которые отъ славянскихъ происходятъ; и напротивъ того дѣепричастія на *я* употребительнѣе у славянскихъ, нежели у россійскихъ. Напримѣръ, лучше сказать „толкаючи“, нежели „толкая“; но напротивъ того лучше употребить „дерзая“, нежели „дерзаючи“.

Пригоденъ и намъ § 358, касающійся употребленія возвратныхъ глаголовъ.

„Весьма обманывались многіе, употребляя возвратный глаголъ вмѣсто страдательнаго; ибо они думали, что *съ* или *ся* всегда ту же силу имѣетъ, какъ латинское r, напримѣръ слушаю, слушаюсь, что весьма неправедно; ибо слушаю съ приложеніемъ *съ* не токмо страдательнаго знаменованія не имѣетъ, но и совсѣмъ въ другомъ разумѣ употребляется. Слушаю значитъ *audio*, а слушаюсь *obedio*, повинуюся. Прямой страдательный залогъ состоитъ изъ причастій страдательныхъ и глаголовъ вспомогательныхъ. Прибавленіе *съ* или *ся* разныя знаменованія въ глаголахъ производитъ: 1) глаголы возвратные — мóю, мóюсь; 2) взаимные — бію, бьюсь; перемѣняются знаменованія — пеку, пекусь; стать, статься.

Въ главахъ: третьей, о второмъ спряженіи простыхъ глаголовъ, четвертой: о глаголахъ сложныхъ обоего спряженія, и въ пятой: о неправильныхъ и неполныхъ глаголахъ обоего спряженія, не заключается ничего особенно замѣчательнаго.

Оканчивая правила о глаголахъ (§ 422), Ломоносовъ упоминаетъ и объ особомъ свойствѣ языка нашего — сокращеніи прошедшихъ неопредѣленныхъ для означенія дѣйствія скораго: глядь, брякъ, хвать, совъ, пыхъ, отъ глядѣлъ, брякалъ, хваталъ, совалъ, пыхалъ (Общ. ср. гр. § 343).

Наставленіе пятое: о вспомогательныхъ или служебныхъ частяхъ слова.

Оно состоитъ изъ шести главъ. Первая — о мѣстоимѣніи. Здѣсь личныя мѣстоимѣнія: *я, ты, онъ,* и опредѣлительное: *самъ* — смѣшиваются съ указательными: *сей, тотъ;* неопредѣленныя: *никто, ничто, нѣкоторый* совсѣмъ не упоминаются. О нихъ, какъ о сложныхъ мѣстоименіяхъ, говорится въ § 432.

Вторая глава о причастіи. Справедливо замѣчаніе о настоящихъ причастіяхъ дѣйств. глаг. на *щій:* „производятся отъ глаголовъ славянскаго происхожденія: вѣнчающій, питающій; а весьма непристойно отъ простыхъ россійскихъ, которые у славянъ неизвѣстны: чавкающій“. — Но прошедшія неопредѣленныя страдательныя причастія (§ 441) весьма употребительны, какъ отъ новыхъ россійскихъ, такъ и отъ славянскихъ глаголовъ произведенныя: питаный, вѣнчанный... Разницу одинъ отъ другого ту имѣютъ, что отъ славянскихъ происшедшія лучше на *ый*, нежели на *ой*, простыя

россійскія приличнѣе на *ой*, нежели на *ый*, кончатся. Первыя склоняются какъ настоящія, другія въ род. ед. муж. и ср. приличнѣе *ого*, нежели *аго* принимаютъ. Также и на концѣ одинъ *н* имѣютъ".

Въ главѣ третьей, о нарѣчіи, полезно замѣчаніе (§ 454), что нѣкоторыя имена, имѣющія одинъ только творительный падежъ, можно почитать за нарѣчія; наркомъ, назоромъ урывомъ.

Въ четвертой главѣ, о предлогѣ, не пропущенъ переходъ предлоговъ въ нарѣчія. „Ибо говоримъ: прежде времени, внутри дома, подлѣ берега... Здѣсь видимъ силу предлоговъ (т.-е. управленіе падежами). Но въ выраженіяхъ: я былъ прежде здоровъ; останься внутри; не стой подлѣ... нарѣчія находимъ" (Общ. ср. гр. § 271).

Въ пятой, о союзѣ, кромѣ простыхъ и сложныхъ союзовъ, принимаются *двурѣчные:* прежде, нежели; если, то; того ради. О томъ, что „нарѣчія силу союзовъ пріобрѣтаютъ", сказано въ § 461.

Въ шестой, о междометіи, эта часть рѣчи раздѣлена на междометія свойственныя и заимственныя. „Свойственныя состоятъ сами собою: ой, ба; заимственныя пріемлются отъ другихъ частей слова, или изъ нихъ составляются: горе, куда, о какъ!"

Наставленіе шестое: о сочиненіи частей словъ. Она состоитъ изъ пяти главъ: Первая — о сочиненіи частей слова вообще ничего особенно занимательнаго не заключаетъ. Вторая — о сочиненіи именъ. Въ § 481, къ правилу о сочиненіи числительныхъ: два, три, четыре, для ясности весьма основательно прибавлено: „но въ косвенныхъ падеждахъ склоняются согласно во множественномъ числѣ: двухъ свѣтилъ, тремъ лицамъ, четырьмя частьми".

Третья глава; о сочиненіи глаголовъ. Ломоносовъ осуждаетъ употребленіе предлога *чрезъ* вмѣсто *отъ:* „намъ то, — говоритъ онъ, — несвойственное и со французскаго языка принужденное употребленіе".

Хотя въ § 358 сказано было, что страдательные глаголы не производятся приложеніемъ *ся* къ дѣйствительнымъ, однако въ § 444 говорится, что въ нѣкоторыхъ къ славянскому свойству склоняющихся выраженіяхъ на *ся* кончающіяся страдательныхъ силу имѣютъ: вина ему отъ насъ прощается;

онъ отъ насъ превозносится". Затѣмъ въ § 445 прибавлено: „по сему явствуетъ, коль прилежно смотрѣть должно, чтобъ различить тѣ возвратные глаголы, которые вмѣсто страдательныхъ употреблены быть могутъ, отъ тѣхъ, которые сего отнюдь не терпятъ".

Далѣе въ § 446: „Для избѣжанія въ семъ погрѣшностей два способа вижу: 1) славянскія реченія больше позволяютъ употребленіе возвратныхъ, вмѣсто страдательныхъ; 2) ежели творительный падежъ не такъ какъ лицо, но въ силѣ орудія представляется, то страдательнаго силу возвратный глаголъ имѣть можетъ: дерева вѣтромъ *качаются*".

Замѣчаніе § 463 весьма полезно: неокончательное неопредѣленное, съ приложеніемъ прошедшаго *было*, имѣетъ силу начинательнаго глагола: мнѣ было говорить, т.-е. я хотѣлъ только начать говорить. А когда *было* назади поставится, значитъ раскаяніе въ томъ, что не сдѣлалось: говорить *было*, писать *было*.

Въ § 466 Ломоносовъ упрекаетъ тѣхъ, которые по свойству чужихъ языковъ дѣепричастія, отъ глаголовъ личныхъ лицами раздѣляютъ, тогда какъ дѣепричастіе должно въ лицѣ согласоваться съ главнымъ глаголомъ личнымъ... Но многіе въ противность сему пишутъ: идучи я въ школу, встрѣтился со мною пріятель". А у насъ черезъ сто лѣтъ тѣ же повторяются ошибки, и не только въ устной рѣчи, но и на письмѣ.

Ломоносовъ сожалѣетъ (§ 467), что изъ обычая и употребленія вышло славянское въ сочиненіи глаголовъ свойство, когда вмѣсто дѣепричастій дательный падежъ причастій полагался, который служилъ въ разныхъ лицахъ: *ходящу мнѣ* въ пустынѣ; *бывшу мнѣ* на морѣ". Эта „потерянная краткость и красота", по выраженію Ломоносова, доселѣ въ русское слово не возвращается.

„*Буду* (§ 469) сопрягается съ дѣйствительными и со страдательными равномѣрно: буду писать, буду писанъ; но хотя *стану писать* есть правильно, однако не говорится: станетъ написано". Въ нашихъ грамматикахъ послѣднее правило опущено.

Отъ неразличенія видовъ въ русскихъ глаголахъ творецъ первой грамматики нашей всякій разъ приходитъ въ затрудненіе, когда надобно проводить глаголъ чрезъ десять временъ. Такъ въ § 470 принужденъ сказать, „что не со всѣми

неокончательными наклоненіями вспомогательные глаголы сочиняются, но токмо съ неопредѣленными: стану писать, буду вертѣть; а стану написать, стану вернуть, буду писывать, вертывать, весьма неупотребительны". Принявъ въ глаголы *виды*, онъ не встрѣтилъ бы этихъ недоразумѣній и не имѣлъ бы надобности въ подобныхъ исключеніяхъ.

Не забыто и перифрастическое спряженіе (§ 471), которое здѣсь приписывается просторѣчію, между тѣмъ какъ въ общесравнительной грамматикѣ заимствованы примѣры этихъ оборотовъ изъ современныхъ писателей, именно: бывало *станетъ* сказывать, а мы *смѣемся;* или — бывало станетъ сказывать, а мы *засмѣемся;* или — бывало *придетъ* и что-нибудь *скажетъ*".

Глава четвертая: о сочиненіи вспомогательныхъ частей слова.

Для нашихъ грамматикъ пригодно правило § 474: „Первообразныя мѣстоименія дательнаго падежа, мнѣ, тебѣ, себѣ, вмѣсто производныхъ мой, твой, свой, во всякомъ родѣ и числѣ, съ существительными въ именительномъ падежѣ произносимыми сочиняются: онъ мнѣ отецъ, тебѣ братъ, самъ себѣ другъ, вмѣсто: мой отецъ, твой братъ, свой другъ".

Равно и слѣдующее замѣчаніе (§ 495): „предлоги повторяются передъ существительнымъ и прилагательнымъ, особливо въ пѣсняхъ: *на* горѣ *на* высокой, *по* морю *по* синему".

Въ главѣ пятой, о сочиненіи частей слова по разнымъ обстоятельствамъ, достойны замѣчанія слѣдующія правила:

§ 507. „Имена городовъ, по рѣкамъ проименованныхъ, полагаются въ предложномъ падежѣ съ предлогомъ *на: на* Дону жить, *на* Москвѣ весело".

§ 513. „Которые на вопросъ *гдѣ* предложный имѣютъ съ предлогомъ *на*, тѣ на вопросъ *куда* требуютъ винительнаго съ тѣмъ же предлогомъ: ѣхать *на* Вятку, *на* Покровку, *на* Охту".

Пятою главою шестого наставленія оканчивается грамматика Ломоносова.

Разсмотрѣвъ этотъ важный трудъ творца первой нашей грамматики съ достаточною подробностью, еще съ большею основательностью можетъ повторить выше упомянутое положеніе, что Ломоносову предстояло все создавать самому, какъ въ различеніи русскаго языка отъ старославянскаго, такъ и

въ усвоеніи книжному языку нѣкоторыхъ формъ и реченій языка народнаго. Разсуждая о пользѣ книгъ церковныхъ въ нашемъ языкѣ, онъ говоритъ: „россійскій языкъ въ полной силѣ, красотѣ и богатствѣ перемѣнамъ и упадку неподверженъ утвердится, коль долго церковь россійская славословіемъ Божіимъ на славянскомъ языкѣ украшаться будетъ“. Всѣ основныя правила языка повторялись послѣдовавшими за нимъ издателями грамматикъ, съ весьма немногими измѣненіями и дополненіями; вѣрность же расположенія грамматики, начинающейся съ философскаго понятія о человѣческомъ словѣ, даже немногими была замѣчена. Современники его вовсе не признавали достоинства этого труда. Сумароковъ, во 2-мъ примѣчаніи своемъ о правописаніи, § 2, почти на каждой страницѣ укоряя Ломоносова, между прочимъ, къ вѣчному стыду своему, сказалъ: „грамматика Ломоносова никакимъ ученымъ собраніемъ не утверждена, и по причинѣ, что онъ московское нарѣчіе въ холмогорское превратилъ, вошло въ нее множество порчи языка“. Но и этотъ холмогорецъ хорошо понималъ Сумарокова. „Спрашивалъ я г. Ломоносова, — разсказываетъ тутъ же Сумароковъ, — ради чего онъ *ф*, а не *ѳ* оставилъ; на что мнѣ онъ отвѣчалъ тако (разумѣется, издѣваясь надъ вопрошавшимъ): *эта литера стоитъ подчершися, и слѣдовательно бодряе*“. Напротивъ, мы, чрезъ сто лѣтъ разсматривая эту грамматику въ связи съ предположенными имъ „филологическими изслѣдованіями и показаніями“, къ дополненію грамматики надлежащими, должны сознаться, что въ сущности и въ грамматическихъ началахъ къ великому холмогорцу ничего прибавить не можемъ.

Таковы достоинства и значеніе грамматики Ломоносова. Столь великій подвигъ могъ совершить только поэтъ и витія, подавшій, вмѣстѣ съ грамматикою, образцы поэзіи и краснорѣчія, потому что самый языкъ есть поэзія первоначальная.

Давыдовъ.

Реторика Ломоносова.

Изъ литературныхъ трудовъ Ломоносова, появившихся въ печати въ 1748 году, самымъ виднымъ было „Краткое руководство къ краснорѣчію, книга первая, въ которой со-

держится Реторика, показующая общія правила обоего краснорѣчія, то-есть ораторіи и поэзіи, сочиненная въ пользу любящихъ словесныя науки. Трудами Михаила Ломоносова Императорской Академіи наукъ и Историческаго собранія члена, химіи профессора. Въ Санктпетербургѣ, при Императорской Академіи Наукъ 1748 г.“

Изъ сохранившагося донынѣ реторическаго учебника, писаннаго Ломоносовымъ въ бытность его въ Московской духовной школѣ, видно, что онъ при составленіи реторики не забылъ своего прежняго школьнаго руководства. Впрочемъ, подобные учебники были сколкомъ съ реторикъ Кауссина и Помея, и митрополитъ Евгеній первый указалъ, что Ломоносовская реторика выбрана изъ сочиненій сейчасъ названныхъ писателей. Въ одномъ разборѣ Смирдинскаго собранія сочиненій Ломоносова указано и третье произведеніе, изъ котораго онъ заимствовалъ реторическія правила — это Готшеда Ausführliche Redekunst. По свидѣтельству г. Будиловича, параграфы „о сопряженіи простыхъ идей“ и „объ изобрѣтеніи доводовъ“ взяты у Вольфа.

Итакъ, Ломоносовская реторика со стороны своего содержанія не представляетъ ничего такого, что отличалось бы самостоятельностью. Впрочемъ, она въ русской литературѣ имѣетъ особенное значеніе по другимъ причинамъ. Прежде всего это была первая реторика на русскомъ языкѣ, такъ какъ до того времени въ нашихъ школахъ эта наука преподавалась не иначе, какъ на латинскомъ языкѣ. Во-вторыхъ, въ подтвержденіе правилъ и для образца здѣсь приведены отрывки и цѣлыя произведенія въ стихахъ и прозѣ, переводныя и оригинальныя. Эти-то особенно примѣры и дѣлали реторику Ломоносова неоцѣненною во время появленія ея въ свѣтъ, когда вовсе не было почти книгъ для легкаго чтенія. Поэтому нисколько не удивительно, что долгое время и послѣ Ломоносовская реторика была не только учебникомъ, но и сборникомъ образцовъ всего лучшаго изъ того, что тогда представляла небогатая русская литература. Замѣчательно еще въ этой реторикѣ и то, что переводчиковъ и авторовъ всѣхъ возможныхъ примѣровъ и образцовъ совмѣщало въ себѣ одно лицо — Ломоносовъ! Не удивительны поэтому слова Татищева, который писалъ вскорѣ по выходѣ въ свѣтъ этого произведенія Ломоносова: „нашъ языкъ многихъ пол-

нѣе и плодовитѣе, и мню, что въ философіи, математикѣ и прочихъ наукахъ не хуже французскаго и германскаго, но еще кратче изъяснить можемъ, что нѣкоторые члены русской Академіи изданіемъ преизрядныхъ книгъ засвидѣтельствовали, особливо господина профессора Ломоносова изрядная Реторика и другія, якоже Тредіаковскаго и господина Сумарокова стихотворныя хвалы достойны". Не только одни современники Ломоносова, но и потомки, нѣсколько лѣтъ послѣ уже появленія въ свѣтъ его реторики, отзывались о ней не иначе какъ съ восхищеніемъ. „Правда, — говоритъ, напримѣръ, Севергинъ[1]), — что правила изобрѣтенія идей, украшенія и расположенія слова у всѣхъ просвѣщенныхъ народовъ почти одинаковыя, но Ломоносовъ былъ первый, который и въ семъ поприщѣ лучшія проложилъ стези на россійскомъ языкѣ. И хотя послѣ него многія изданы подобныя руководства, но твореніе Ломоносова служило имъ всегда основаніемъ; и не взирая на оныя, любители словесности не престаютъ донынѣ читать его Реторику и образовывать себя по оной. Ибо никто почти не былъ столь счастливъ въ выборѣ примѣровъ, особливо въ наполненіи періодовъ и распространеніи слова, въ возбужденіи страстей, въ вымыслахъ и вообще въ украшеніи и расположеніи. Здѣсь должны мы наипаче удивляться изяществу его вкуса, ибо всѣ его примѣры сильны, ясны и привлекательны, а нѣкоторые неподражаемы..." Затѣмъ въ примѣръ приведено описаніе пѣнія соловья, оказавшееся, впрочемъ, заимствованнымъ изъ Плинія. *Пекарскій.*

Реторика Ломоносова.

„Реторика Ломоносова высоко цѣнилась современниками. Существуетъ даже благосклонный о ней отзывъ В. Н. Татищева. Говоря въ своей „Россійской исторіи" о русскомъ языкѣ, Татищевъ прибавляетъ, что высокое его достоинство „нѣкоторые члены русской Академіи изданіемъ изрядныхъ книгъ засвидѣтельствовали, особливо господина профессора

---

[1]) Слово похвальное Ломоносову, читанное въ Императорской россійской Академіи В. Севергинымъ. С.-Петербургъ, 1805 г., стр. 31, 32.

Ломоносова изрядная „Реторика“ и другое“. Самый вѣрный отзывъ о „Реторикѣ“ Ломоносова сдѣланъ митрополитомъ Евгеніемъ: „Сія книга была первою на россійскомъ языкѣ о сей наукѣ, ибо въ школахъ дотолѣ преподавали оную только на латинскомъ. Правда, Ломоносова „Реторика“ собрана изъ тѣхъ же классическихъ книгъ, и наипаче изъ латинской Кауссиновой большой и Помеевой „Реторики“, и вся составлена только изъ общихъ правилъ съ подведеніемъ только нѣкоторыхъ россійскихъ примѣровъ подлинниками и переводами — изъ древнѣйшихъ и новѣйшихъ писателей. Но сіи-то примѣры были новостію для желающихъ знать красоту россійскаго слога. Ломоносовъ не только съ разборчивымъ вкусомъ выбралъ примѣры, но и чужестранныхъ переводилъ съ мастерскимъ искусствомъ“.

Этотъ общій отзывъ требуетъ только незначительныхъ измѣненій, чтобы сдѣлаться прочнымъ достояніемъ науки. Дальнѣйшее наше изложеніе частію подтвердитъ, частію пополнитъ его.

Митрополитъ Евгеній былъ совершенно правъ, сказавши, что „Реторика“ Ломоносова не есть трудъ самостоятельный. Оригиналъ правилъ и примѣровъ, принятыхъ имъ въ свой курсъ, можно найти всего болѣе въ огромной, хотя и нескладной „Реторикѣ“ Кауссина и отчасти въ „Реторикѣ“ Помея; глава о возбужденіи страстей, хотя, по словамъ Ломоносова, и основана на философскомъ ученіи о нравахъ, но большею частію заимствована изъ книги Готшеда: „Ausführliche Redekunst“, въ которой, впрочемъ, этотъ вопросъ изложенъ тоже не самостоятельно, а по Кауссину, съ примѣненіемъ къ Аристотелю; понятія логическія „о сопряженіи простыхъ идей“ (§ 46 и слѣд.) и „объ изобрѣтеніи доходовъ“ (§ 93) взяты Ломоносовымъ у Вольфа; въ общемъ же расположеніи онъ слѣдовалъ русскимъ школьнымъ реторикамъ, изъ которыхъ одна, извѣстная въ рукописи конца XVII вѣка (послѣ 1696 года) хранящейся въ Императорской Публичной библіотекѣ, подъ № 1663, особенно поражаетъ своимъ сходствомъ съ учебникомъ Ломоносова. Такимъ образомъ „Реторика“ Ломоносова напоминаетъ мозаическую картину: съ разныхъ сторонъ подбиралъ онъ раскрашенные камешки, но ему принадлежитъ ихъ группировка, совершенно оригинальная, или, по крайней мѣрѣ, очень отличная отъ расположенія тѣхъ матеріаловъ въ источникахъ.

Кауссинъ начинаетъ свою „Реторику“, подобно Ломоносову, общими замѣчаніями о краснорѣчіи, а въ III главѣ трактуетъ de adminiculis ad comparandam eloquentiam — ingenio, imitatione, о чемъ и Ломоносовъ говоритъ во вступленіи. Далѣе, у Кауссина, какъ и Ломоносова, слѣдуютъ главы объ изобрѣтеніи, объ украшеніи и о расположеніи — de inventione (c. IV), de elocutione (c. VII) и de distributione (c. VI); но онѣ отличаются отъ Ломоносовскихъ расположеніемъ и объемомъ. Amplificatio (c. V) у Кауссина отдѣлено отъ inventionis (c. IV). Глава de affectibus (c. VIII) у Ломоносова вошла въ ученіе объ изобрѣтеніи.

Наконецъ, у Кауссина осталась, отвергнутая Ломоносовымъ, глава de pronuntiatione (c. IX), излагающая совершенно внѣшнія правила о жестикуляціи, выраженіи лица и т. д. Остальныя семь главъ Кауссина (cc. X—XVI) о краснорѣчіи судебномъ, гражданскомъ и церковномъ должны были у Ломоносова войти въ особый учебникъ „Ораторію“. Еще менѣе удовлетворился Ломоносовъ расположеніемъ реторики Помея. Она не отличается ни полнотою ни стройностію. Въ началѣ ея помѣщены progymnasmata aphonis — ученіе о хріи, и только во 2-й части находится собственно опредѣленіе реторики. Здѣсь собственно три части — inventio, elocutio и amplificatio, но онѣ не вполнѣ соотвѣтствуютъ составу реторики Ломоносова: третья часть реторики Помея заключается у Ломоносова въ первой. Того, что у Кауссина названо dispositio, у Помея совсѣмъ не существуетъ. Оканчивается его „Реторика“ такъ же произвольно, какъ и начата, разсужденіемъ de panegyricis. Наиболѣе напоминаетъ „Реторику“ Ломоносова своимъ содержаніемъ и расположеніемъ названная уже русская: „Реторика, словенски — краснорѣчіе“. Тутъ, какъ и у Ломоносова, три главныя части — изобрѣтеніе, красноглаголаніе (оно поставлено третьимъ) и расположеніе. Вначалѣ, какъ и у Ломоносова, поставлено ученіе о естествѣ, или объ условіяхъ реторической мудрости, которыхъ признается, согласно съ Ломоносовымъ, четыре: 1) природное дарованіе, 2) наука, 3) частное употребленіе и 4) подражаніе. Въ главѣ объ изобрѣтеніи помѣщено ученіе о мѣстахъ, о расположеніи по силлогизму и т. д. Въ главѣ о красноглаголаніи говорится о тропахъ и фигурахъ словъ и реченій; то и другое какъ у Ломоносова. Въ заключеніи

говорится о трехъ родахъ глаголанія (у Ломоносова *штили*) и, наконецъ, чего у Ломоносова уже нѣтъ, — о разставленіи точекъ и произвѣщеніи. Изложеніе этой рукописной реторики стройно и цѣльно: есть въ ней замѣтки, еще болѣе сближающія взглядъ автора съ Ломоносовскимъ, въ родѣ слѣдующей: „Реторика — рука великаго ума, яже состоится паче вещьми и разумы, неже словцами".

Принимая эту именно систему изложенія, Ломоносовъ, вѣроятно, руководствовался воспоминаніями школы; факты учебниковъ скоро вывѣтриваются, но схема твердо напечатлѣвается въ умѣ, и новоприобрѣтенныя данныя уже помѣщаются въ данномъ распорядкѣ. По отношенію къ работѣ Ломоносова это было тѣмъ легче, что, при собираніи матеріаловъ для „Реторики" онъ, повидимому, прибѣгъ къ обычному своему механическому пріему выписокъ, которыя у него въ новой обстановкѣ получили значеніе, далеко отличное отъ первоначальнаго: одни и тѣ же примѣры послужили подтвержденіемъ различныхъ правилъ. Что касается способа переводовъ, то они всегда у Ломоносова точны и близки къ подлиннику, такъ что у него всегда можно отличить переводъ съ подлинника и переводъ съ чужого перевода; такъ, напримѣръ, видно, что въ § 113 переведено съ греческаго при помощи нѣмецкаго перевода, а въ § 114 переведено съ латинскаго подлинника, но при соображеніи того же мѣста у Готшеда. Съ греческаго подлинника, кажется, нѣтъ переводовъ, по крайней мѣрѣ, переводы изъ Иліады (§ 114) и пр. настолько далеки отъ подлинника, что ихъ нельзя считать сдѣланными прямо съ него. Переводя съ буквальною точностію, безъ всякихъ измѣненій и добавленій, Ломоносовъ считалъ себя, однако, въ правѣ дѣлать выборъ примѣровъ, сокращалъ ихъ и иногда даже составлялъ одинъ изъ двухъ чужихъ: въ § 58 описаніе пѣнія соловья составлено изъ двухъ описаній — Геснера и Плинія; замѣчателенъ пріемъ Ломоносова въ переводѣ отрывка изъ Энеиды, въ § 314:

Изъ коей вы земли, и коего народа,
И съ миромъ ли вы къ намъ, или пришли съ войною.

Этотъ переводъ живо напоминаетъ извѣстные обороты рѣчи въ русскихъ былинахъ.

Въ выборѣ примѣровъ Ломоносовъ предпочиталъ мѣста

изъ древнихъ или новыхъ классиковъ и отцовъ Церкви образцамъ, нарочно сочиненнымъ риторами. Онъ прямо говоритъ: „Хотя у древнихъ учителей краснорѣчія о хріи правилъ не находимъ, однако не мало есть оныя примѣровъ въ ихъ сочиненіяхъ. Правда, что онѣ, по большей части, не полны и не порядочны, однако мнѣ разсудилось, что для образца лучше предложить оныя, нежели по предписаннымъ отъ Антонія Софиста правиламъ строго отъ новыхъ авторовъ сочиненныя, изъ которыхъ почти ни единой путной видать мнѣ не случалось“.

Кромѣ классическихъ писателей, примѣры витійства, по мнѣнію Ломоносова, можно найти въ „славянскихъ церковныхъ книгахъ“ (§ 147). Попадаются у него также примѣры изъ народныхъ пословицъ: „И всякъ спляшетъ, да не такъ, какъ скоморохъ. Молебенъ пѣть, да пользы нѣтъ. Либо полонъ дворъ, либо корень вонъ“ (§ 192). Наконецъ, между примѣрами множество такихъ, при которыхъ не указано, кому они принадлежатъ. Мы склонны приписать ихъ самому Ломоносову, какъ, напримѣръ, ему принадлежатъ не вошедшіе въ собраніе его сочиненій стихи, сочиненные въ Петергофѣ 1759 г. (§ 270), три басни въ концѣ „Реторики“: „Волкъ въ пастушьемъ платьѣ“ (§ 306), „Сварливая жена“ (§ 307) и „Старикъ и оселъ“ (§ 308). Точно также мы считаемъ оригинальными стихи въ § 62: „Ужъ солнышко спустилось“, и четверостишіе въ § 140: „Не всякъ ли говоритъ?“ Наконецъ, по собственному указанію Ломоносова, имъ сочинены два примѣра: 1) примѣръ полной и правильной хріи на тему Віантовой рѣчи (§ 264) и 2) примѣръ расположенія къ силлогизму на тему о разумности устройства міра (§ 271). Но мы не рѣшаемся сказать того же о другихъ примѣрахъ, которыхъ источникъ не указанъ и не найденъ; иначе мы должны бы признать оригинальнымъ примѣръ о пѣньи соловья (§ 58) или эпиграмму: „Въ тополевой тѣни“ (§ 141), тогда какъ первый принадлежитъ Геснеру и Плинію, а вторая — Марціалу. Вѣроятно, подготовительныя выписки дѣлались Ломоносовымъ безъ отмѣтки источниковъ и въ такомъ видѣ вошли въ „Реторику“: въ § 66 стихотвореніе „О веснѣ послѣ зимы“, очевидно, заимствовано изъ классической литературы, но при немъ не сдѣлано никакой цитаты, — это, однако, не ручается еще за оригинальность стиховъ. Въ отношеніи теоретической части „Реторики“ мы должны замѣтить,

что если бы считать оригинальнымъ все то, источникъ чего еще не отысканъ, то сравнительно наиболѣе оригинальною частью должно назвать главу „о изобрѣтеніи витіеватыхъ рѣчей слѣдующую“ главу „о вымыслахъ“ и послѣднія главы: „о расположеніи по хріи, силлогизму и разговору“ и „о расположеніи описаній и періодовъ“. Напротивъ того, всего менѣе оригинальными должно считать главы о тропахъ и фигурахъ. Несомнѣнно нужно приписать Ломоносову много частныхъ замѣтокъ, которыми онъ сопровождалъ правила и цѣлыя главы, выражая гдѣ-нибудь въ заключеніи свой скептическій взглядъ за практическое значеніе этихъ же правилъ или повторяя настойчивыя убѣжденія не довѣряться теоріи, а больше учиться изъ опыта, не насиловать мысли механическою формальностью изложенія и не увлекаться пристрастіемъ къ реторической фигуральности и игрушкамъ. Приведемъ образцы подобныхъ замѣтокъ.

1) „При всѣхъ риторическихъ правилахъ примѣры великое онымъ подаютъ изъясненіе (§ 289). Сіи правила объ украшеніи описаній предложены больше для того, чтобы всякъ, читая историческія и другія описаніями и повѣствованіями богатыя книги, примѣчалъ въ нихъ то, что ихъ особливо украшаетъ. Кто сіе наблюдать будетъ, тотъ много найдетъ, чего ни въ какихъ реторическихъ правилахъ нѣтъ, и для того правила для себя по найденнымъ примѣрамъ составить или одни примѣры въ свою пользу употреблять можно“.

За главой о сопряженіи идей находимъ слѣдующее заключеніе: „При сопряженіи простыхъ идей не должно себя излишне принуждать, чтобъ онѣ токмо по предложеннымъ (§ 27) правиламъ сопряжены были; надлежитъ стараться, чтобы изъ соединенія оныхъ происходили натуральныя и съ разумомъ согласныя мысли, а не принужденныя или ложныя и вздорныя“. Вслѣдъ за ученіемъ о распространеніи сказано: „Распространенія искусному слуху скучны и несносны и развѣ тѣмъ только показаться могутъ, которые любятъ, чтобы имъ объ одномъ десятью сказывали“ (§ 51).

Въ главѣ о пополненіи періодовъ съ нѣкоторою злостью замѣчено: „Надлежитъ поступать осторожно, чтобы не родились подлыя и смѣшныя реченія игрушки, что нерѣдко случается въ именахъ, чрезъ предложеніе письменъ производныхъ, которыя анаграммами называются“ (§ 60).

Предлагая правила объ изобрѣтеніи витіеватыхъ рѣчей, Ломоносовъ сдѣлалъ оговорку: „Сіе показываемъ не съ такимъ намѣреніемъ, чтобы учащіеся мѣры не знали и слѣдовали бы нынѣшнимъ италіанскимъ авторамъ, которые, силясь писать всегда витіевато и не пропустить единой строки безъ острой мысли, нерѣдко завираются“ (§ 130; ср. §§ 146 и 180).

Наконецъ, въ „Реторикѣ“ попадаются замѣтки о предметахъ, собственно выходящихъ изъ круга излагаемыхъ свѣдѣній: напримѣръ, замѣтка о номиналистахъ и реалистахъ (§ 32); но онѣ нашли себѣ мѣсто здѣсь только при взглядѣ Ломоносова на реторику, какъ на энциклопедію необходимыхъ знаній. Опредѣленіе родовъ словесности (§ 151) тоже отчасти заходитъ въ область піитики. Въ томъ же параграфѣ интересенъ взглядъ Ломоносова на народныя сказки, при чемъ названа „сказка о Бовѣ“. *Будиловичъ.*

Взглядъ Ломоносова на поэзію.

Понятія Ломоносова о поэзіи были не многимъ выше, чѣмъ понятія его современниковъ. Въ опредѣленіи поэзіи Ломоносовъ не далеко ушелъ отъ Готшеда, говоря, что она отличается отъ прозы только „отмѣннымъ сложеніемъ и штилемъ“, а „въ разсужденіи общества матеріи весьма съ оною сходствуетъ; ибо объ одной вещи можно писать прозой и стихами („Реторика, предисловіе § 9). Но все-таки піитика Ломоносова могла бъ имѣть для насъ историческое значеніе, какъ комментарій къ его литературнымъ произведеніямъ, на которыхъ печать времени положила такъ много. За недостаткомъ же этой піитики, мы должны довольствоваться нѣсколькими отрывочными замѣчаніями въ „Реторикѣ“, выходящими изъ ея области и касающимися формъ поэтическихъ: такъ есть, напримѣръ, замѣтки о вымыслахъ поэтическихъ, т.-е. о творчествѣ (§ 148, ср. § 287); упоминаются театральныя поэмы (§ 276); комедіи и трагедіи (§ 278), эклоги, идилліи (§ 277), драмы (§ 286), эпическія или героическія поэмы (§§ 288 и 295), басни и притчи (§§ 151 и 309). Но все это такъ отрывочно, что по этимъ упоминаніямъ нельзя составить себѣ опредѣленнаго понятія о взглядѣ Ломоносова на роды и виды поэзіи. Только первую, такъ сказать, главу піитики Ломоносова, или

ученіе о русской версификаціи, мы можемъ изложить довольно полно — по уцѣлѣвшему „письму о правилахъ россійскаго стихотворства“ (1739). Письмо это обращено къ Россійскому собранію, учрежденному при Академіи Наукъ въ 1735 году, а не къ Тредіаковскому, какъ думалъ послѣдній. Изъ самаго содержанія письма видно, что оно обращено не къ Тредіаковскому, потому что все направлено противъ него, и притомъ довольно рѣзко, почти насмѣшливо. По нашему мнѣнію, письмо Ломоносова надобно считать не иначе, какъ критикою на способъ къ сложенію россійскихъ стиховъ Тредіаковскаго (1735), хотя послѣдній и не поименованъ Ломоносовымъ.

Въ вопросѣ о томъ, кому нужно приписать открытіе тоническаго размѣра и введенія его въ русскую литературу: Ломоносову или Тредіаковскому, могутъ рѣшить дѣло два соображенія: 1) Ломоносовъ ужъ имѣлъ подъ руками „Способъ“ Тредіаковскаго, появившійся за четыре года до написанія Ломоносовымъ письма, слѣдовательно, теоретически изобрѣтеніе тоническаго размѣра принадлежитъ Тредіаковскому, а Ломоносовъ только усовершенствовалъ его. Но 2) „Способъ“ Тредіаковскаго никого не убѣдилъ, ни даже его самого, и уже послѣ его изданія самъ авторъ снова обратился было къ стиху силлабическому; слѣдовательно, хотя Ломоносовъ выступалъ вторымъ съ тѣмъ же предложеніемъ, но оно не могло не представляться новымъ, потому что до того никто не обращать вниманія на мысль Тредіаковскаго. Съ другой стороны, общество — не школа, и даже вѣрная теорія не имѣетъ въ его глазахъ цѣны и знанія, пока она не оправдана дѣломъ. Посмотримъ же, въ чемъ соглашался Ломоносовъ съ Тредіаковскимъ и что онъ измѣнялъ въ его „Способѣ“.

Ломоносовъ говоритъ, что „россійскіе стихи надлежитъ сочинять по природному нашего языка свойству“; равнымъ образомъ и въ мнѣніи Тредіаковскаго „достаточнымъ основаніемъ“ для подтвержденія или опроверженія правила служитъ выраженіе, что „свойство нашего языка того не терпитъ“, хотя конечно, Тредіаковскій, по собственному его сознанію, не всегда умѣлъ „въ свойство нашего природнаго языка умѣтить“. Что наблюденіе надъ свойствами русскаго народнаго языка привело Тредіаковскаго къ мысли о тоническомъ размѣрѣ, видно изъ его же собственныхъ словъ: „Думали, что я сіе стихосложеніе взялъ съ французскаго. Пусть отнынѣ перестанутъ про-

тивно думающіе думать противно: ибо поистинѣ всю я силу взялъ сего новаго стихотворенія изъ самыхъ внутренностей свойства, нашему стиху приличнаго; и буде желается знать, то мнѣ надлежитъ объявить, что поэзія нашего простого народа къ сему меня довела... Подлинно, почти всѣ знанія, при стихѣ употребляемыя, занялъ я у французской версификаціи, но самое дѣло у самой нашей природной, наидревнѣйшей оной простыхъ людей поэзіи. Итакъ, всякъ разсудитъ, что я французской версификаціи долженъ мѣшкомъ, а старинной россійской поэзіи всѣми тысячью рублей“ 113 (fin.).

Конечно, это не мѣшало Тредіаковскому находить, что французская поэзія „вся та жъ, что и наша, кромѣ нѣкоторыхъ не малыхъ околичностей“, и полагать отчасти французскую версификацію за образецъ для русской, начиная отъ искусства французовъ въ „прочитаніи стиховъ“ и кончая пересѣченіемъ (цезурой) и риѳмою. Дѣло представлялось пока очень смутно, и потому противорѣчія были неизбѣжны.

Далѣе у Ломоносова читаемъ: „Въ россійскомъ языкѣ тѣ только слова долги, надъ которыми стоитъ сила, а прочіе коротки; сіе самое природное произношеніе намъ очень легко показываетъ“. Это высказано и Тредіаковскимъ: „Долгота и краткость слоговъ въ новомъ россійскомъ стихосложеніи не такая, разумѣется, какова у грековъ и латинъ въ сложеніи стиховъ употребляется, но токмо тоническая, т.-е. въ единомъ удареніи голоса состоящая“. У Тредіаковскаго есть слѣдующее обращеніе къ Смотрицкому: „Авторъ „Славянскія грамматики“... желая наше сложеніе стиховъ подобнымъ учинить греческому и латинскому, такъ свою просодію количественную смѣшно написалъ, что сколько разъ за оную ни примешься, никогда не можешь удержаться, чтобы не быть, смотря на оную, смѣющимся Демокритомъ“.

Равнымъ образомъ и Ломоносовъ осуждаетъ Смотрицкаго за то, что онъ хотѣлъ составить славянскую просодію по образцу греческой. Ломоносовъ не одобряетъ стиховъ, „въ которыхъ всѣ односложныя слова за долгія почитаются, и вслѣдъ за тѣмъ прямо указываетъ на первый корольларій пятаго опредѣленія, „въ которомъ сіе правило счастливо предложено“ и т. д. Это уже указаніе на „Способъ“ Тредіаковскаго, который гласитъ, что „всѣ реченія единосложныя не могутъ быть какъ только долгія“. Слѣдующіе за тѣмъ у Ломоносова стихи

приведенные въ примѣръ неудачной версификаціи, взяты изъ первой элегіи Тредіаковскаго въ томъ же „Способѣ“. Далѣе Ломоносовъ говоритъ: „Не знаю, чего бы ради... гексаметры и всѣ другіе стихи... такъ запереть, чтобы они ни больше ни меньше опредѣленнаго числа слоговъ не имѣли“. Это возраженіе на категорически заявленное мнѣніе Тредіаковскаго, что „гексаметръ нашъ не можетъ имѣть ни больше ни меньше тринадцати слоговъ“, мнѣніе, котораго Тредіаковскій, долго и упорно держался, опираясь на авторитетъ классиковъ и риторовъ. Высказанная Ломоносовымъ неблагосклонность къ французамъ, которыхъ онъ называетъ „нѣжными господами“, которые „во всемъ хотятъ натурально поступать, однако почти всегда противно своему намѣренію чинятъ, и версификацію которыхъ онъ сравниваетъ съ горбатою и кривоногою плясуньей, — эта неблагосконность могла проявиться у него отчасти какъ реакція преувеличенному благоговѣнію предъ французами Тредіаковскаго, а отчасти, можетъ-быть, по пристрастію Ломоносова къ нѣмецкой наукѣ и поэзіи, которыя онъ научился уважать въ школѣ, поставляя ихъ на одну доску съ наукой и поэзіей грековъ и римлянъ. Далѣе Ломоносовъ полагалъ, что цензуру въ срединѣ правильныхъ нашихъ стиховъ „употреблять и оставлять можно“, и что „тому въ своихъ стихахъ оную всегда ставить позволено, кто однимъ духомъ тринадцати слоговъ прочитать не можетъ“. Это ироническое замѣчаніе на мысль Тредіаковскаго, что „стихъ героическій долженствуетъ раздѣленъ быть на полстишія, изъ которыхъ бы первое состояло изъ семи слоговъ, а другое изъ шести... понеже мѣра духа человѣческаго требуетъ того“.

Тредіаковскій предпочитаетъ стихъ хореическій, называя весьма худымъ тотъ, „который весь ямбы составляютъ“. Ломоносовъ, напротивъ того, находитъ, что „чистые ямбическіе стихи хотя и трудновато сочинять, однако, подымаяся тихо вверхъ, матеріи благородство, великолѣпіе и высоту умножаютъ“. Лѣтъ пять спустя изъ-за этого же спорнаго вопроса о превосходствѣ ямба предъ хореемъ произошло нѣчто въ родѣ поэтическаго турнира Ломоносова и Сумаркова съ Тредіаковскимъ. Но Тредіаковскій приступилъ къ состязанію со взглядами, уже значительно измѣненными, въ сравненіи съ тѣмъ, что̀ говорилъ въ 1735—1739 годахъ. Въ 1744 году онъ

уже не называлъ ямба подлымъ, а только находилъ, что „ни которая изъ сихъ стопъ сама собою не имѣетъ какъ благородства, такъ и нѣжности“, но что „все сіе зависитъ токмо отъ изображеній, которыя стихотворецъ употребляетъ въ свое сочиненіе“. При этомъ въ доказательство, что подъемъ снизу вверхъ не всегда значитъ высоту, Тредіаковскій приводитъ „Иліаду“ и „Энеиду“, написанныя не анапестомъ, а дактилемъ. Сумароковъ придерживался взгляда Ломоносова, что въ ямбѣ есть „высокость, благородство и живость, а въ хореѣ только „нѣжность“, для выраженія „любовническаго вздыханія“. Для рѣшенія спора положено было, чтобы каждый изъ споривших сочинилъ парафрастическую оду на тему 143-го псалма. Первая, ямбическая принадлежитъ Сумаркову, вторая, хореическая — Тредіаковскому, третья, ямбическая — Ломоносову. Въ одахъ оказалась „чувствительная разность жара и изображеній, а удивительное согласіе разума“, однако не трудно различить, что̀ кому принадлежитъ, и нельзя сказать, чтобы хорей одержалъ побѣду надъ ямбомъ. Довольно замѣтить, что при второмъ изданіи „Способа“ Тредіаковскій совершенно выбросилъ порицательный отзывъ о ямбѣ, признаваясь (въ предисловіи), что симъ (и сочетаніемъ стиховъ) прежній „Способъ былъ не достаточенъ“. Не меньше оживленныхъ споровъ и толковъ породило разнорѣчіе между Ломоносовымъ и Тредіаковскимъ насчетъ умѣстности въ русскомъ стихосложеніи мужской риѳмы. Тредіаковскій, можетъ-быть, примѣняясь къ стихосложенію польскому, и во всякомъ случаѣ, совершенно не обращая вниманія на свойства русскаго языка, произнесъ слѣдующій догматическій приговоръ: „Извѣстно есть всѣмъ нашимъ стихотворцамъ, что сіе согласіе (то-есть риѳма, „согласіе конечныхъ между собою въ стихѣ слоговъ“) всегда лучше сходится на предкончаемомъ слогѣ, т.-е. на слогѣ, который передъ самымъ послѣднимъ, хотя нѣкогда, и то въ комическомъ и сатирическомъ стихѣ (но что̀ рѣже, то лучше), и на кончаемомъ, то-есть на самомъ послѣднемъ то бываетъ.

Ломоносовъ возражалъ противъ такого намѣреннаго стѣсненія русскаго стиха, указывая на его источникъ въ польской версификаціи и доказывая фактически несостоятельность этого ученія. Тредіаковскій, однако, не скоро убѣдился въ

полноправности мужской риѳмы: вѣроятно, уже къ пятидесятымъ годамъ относятся эпиграммическіе стихи Ломоносова „на сочетаніе стиховъ россійскихъ“, въ которыхъ онъ торжествуетъ свою побѣду надъ Штивеліемъ (Тредіаковскимъ).

Итакъ, „письмо“ Ломоносова написано въ полемическомъ духѣ и тонѣ. И мы должны признать, что его теоретическія поправки „Способа“ Тредіаковскаго всѣ безъ исключенія приняты русскою литературою, но, конечно, благодаря не этому „письму“, которое и притомъ напечатано въ первый разъ уже въ 1778 году, а „примѣру ясному и способному“, который у Ломоносова сопровождалъ теорію, подтверждалъ ея выводы и давалъ имъ ходъ. *Будиловичъ.*

Вліяніе Гюнтера на Ломоносова.

Всѣмъ извѣстно, что въ одѣ „На взятіе Хотина“ Ломоносову служилъ образцомъ Гюнтеръ. Но въ чемъ именно состояло подраженіе, и почему онъ обратилъ такое вниманіе на этого поэта? Гюнтеръ, умершій въ 1723 году только 28 лѣтъ, справедливо пользовался тогда славою самаго талантливаго нѣмецкаго поэта: уже вышло нѣсколько, хотя еще и неполныхъ, изданій его сочиненій, и незадолго передъ паденіемъ Хотина появилась первая біографія покойнаго. Похвалы Гюнтеру вызвали противъ него и порицанія; противниками его были особенно послѣдователи рутиниста Готшеда. Но понятно, что въ томъ кругу, гдѣ обращался Ломоносовъ, талантъ Гюнтера былъ уважаемъ, особенно если вспомнить, что главнымъ покровителемъ покойнаго при жизни его былъ знаменитый лейпцигскій профессоръ *Менке*, бывшій въ сношеніяхъ съ наставникомъ Ломоносова Вольфомъ. Молодость несчастнаго Гюнтера, далѣе которой не продлилась его жизнь, представляетъ его сходство съ первымъ періодомъ жизни Ломоносова. Гюнтеръ — силезскій уроженецъ, бѣжалъ также изъ родительскаго дома, слѣдуя потребностямъ духа, противъ воли отца, который хотѣлъ заставить его учиться медицинѣ, тогда какъ сынъ чувствовалъ влеченіе къ поэзіи. Но для Гюнтера этотъ поступокъ сдѣлался источникомъ бѣдствій и ранней гибели: несмотря на его глубокое

раскаяніе впослѣдствіи, жестокій отецъ не согласился простить и навсегда изгналъ изъ своего дома. Студенческая жизнь, какова она была въ тогдашнихъ германскихъ университетахъ, отразилась въ большей части стихотвореній Гюнтера, почему они были, вѣроятно, распространены между студентами. Изумительно плодовитый талантъ его проявился всего болѣе въ пѣсняхъ, но и онѣ, какъ большая часть стихотвореній, написаны на разные случаи вседневной жизни. По духу того времени высшимъ родомъ такого стихотворства *на случаи* считались сочиненія въ похвалу какого-нибудь знатнаго лица или событія дворской жизни; сочиненія же этого рода и были самыя выгодныя, потому что доставляли авторамъ не только покровительство сильныхъ, но и деньги. Искать предъ всякимъ домашнимъ праздникомъ или по поводу радостнаго случая стихотворца, который бы ихъ воспѣлъ, было обычаемъ не только дворовъ, но и частныхъ людей. Чѣмъ значительнѣе было воспѣтое лицо или обстоятельство, тѣмъ болѣе правъ пріобрѣтала ода на общее вниманіе. Вотъ почему, независимо отъ своего внутренняго достоинства, заняла такое видное мѣсто ода Гюнтера на миръ Австріи съ Турціей, заключенный въ Пассаровицѣ 1718 г. Написать побудилъ Гюнтера названный мною Менке, желая воспользоваться случаемъ доставить обезпеченное положеніе поэту, отъ котораго онъ такъ много ожидалъ. Гюнтеръ, вообще не любившій лести и хвалебнаго стихотворства, уступалъ однакоже не разъ требованіямъ своей эпохи. Едва ли Ломоносовъ, при своихъ учебныхъ занятіяхъ и студенческихъ развлеченіяхъ имѣлъ время прилежно читать Гюнтера; но ему легко было ознакомиться съ прославленнымъ произведеніемъ замѣчательнѣйшаго изъ тогдашнихъ германскихъ поэтовъ, и вотъ однородныя событія въ войнѣ Россіи съ Турціей подаютъ ему мысль взять за образецъ нѣмецкую оду, воспѣвшую торжество австрійцевъ въ борьбѣ съ тѣмъ же непріятелемъ. Чрезвычайно замѣчательно, какъ молодой русскій, руководствуясь своимъ природнымъ вкусомъ и эстетическимъ тактомъ, воспользовался примѣромъ современнаго ему нѣмца. Принявъ размѣръ подлинника и ея десятистрочную стопу съ тѣмъ же порядкомъ въ сочетаніи риѳмъ, Ломоносовъ сдѣлалъ свою оду вдвое короче. Кромѣ внѣшней формы, подражаніе его затѣмъ ограничивается сроднымъ духомъ ли-

ризма, общимъ сходствомъ въ образахъ и заимствованіемъ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ мыслей; но оно нигдѣ не доходитъ до степени даже вольнаго перевода. Не останавливаясь на подробностяхъ для подкрѣпленія этого замѣчанія, прибавлю только, что Ломоносовъ обнаружилъ тутъ поразительную въ начинающемъ поэтѣ художественную сдержанность, избѣгнувъ всѣхъ тѣхъ неровностей, тривіальныхъ картинъ и выраженій, запечатлѣнныхъ безвкусіемъ, которыя довольно часто попадаются въ нѣмецкой одѣ посреди стиховъ и цѣлыхъ тирадъ противоположнаго свойства. *Гротъ.*

Значеніе Ломоносова въ изящной словесности.

Для всѣхъ временъ и всѣхъ странъ въ изящномъ видѣли отраженіе и образъ лучшихъ своихъ идей.

Извѣстно, что нѣтъ такого общественнаго состоянія, которое бы тѣмъ или другимъ образомъ не отзывалось въ литературѣ, и нѣтъ такой литературы, какъ бы она ни казалась недостаточною, которая бы не нужна была обществу и не имѣла на него болѣе или менѣе значительнаго вліянія. Знакомиться съ какою-нибудь литературою или съ состояніемъ ея въ извѣстный періодъ времени — не значитъ только искать въ произведеніяхъ ея безусловнаго достоинства, или оригинальныхъ красотъ, а значитъ понимать судьбу и характеръ ея вмѣстѣ съ духомъ вѣка, и людей, потому что ходъ человѣческаго развитія самъ по себѣ на всякой степени, во всякое время и на всякомъ мѣстѣ составляетъ высшее значеніе и первостепенный интересъ для разума. Новой литературѣ точно такъ же слѣдовало возникнуть въ нашемъ обществѣ изъ реформы Петра, какъ надлежало возникнуть новымъ понятіямъ, стремленіямъ, нравамъ, обычаямъ, и если ни одинъ изъ элементовъ вначалѣ не носилъ на себѣ печати зрѣлости и самобытности, то откуда литература могла ихъ почерпнуть. Главное, чему необходимо надлежало въ ней совершиться, что совершилось, и безъ чего она представляла бы одинъ хаосъ мыслей и языка, это усвоеніе себѣ опредѣленнаго направленія по европейскимъ началамъ, которыми проникласъ общественная жизнь. Обозначая собою логическій процессъ нашей послѣ-петровской исто-

ріи, она должна была начаться такимъ образомъ, пройти послѣдовательными стадіями до тѣхъ пунктовъ, гдѣ неизбѣжная встрѣча ея съ коренными потребностями и интересами, съ національнымъ духомъ, должна была, наконецъ, поставить ее на пути къ своеобразному и самостоятельному развитію. Напрасно стали бы обвинять ее въ томъ, что понятіе и отвлеченный принципъ преобладали въ ней надъ творчествомъ, техника и форма надъ содержаніемъ, что художественная стихія не принята ею изъ движенія національныхъ внутреннихъ силъ, а была заимствована. Обвинять мы имѣемъ право только то, что бываетъ, могши и не быть, что является вслѣдствіе незаконнаго произвола, или то, что усиливается простирать свои притязанія за предѣлы мѣста, указаннаго ему исторіей. Переходныя состоянія кажутся намъ всегда чѣмъ-то безплоднымъ, не болѣе какъ обреченною жертвою будущаго. Состояніе, въ которомъ одинъ фазисъ жизни оканчивается, чтобы дать мѣсто другому, дѣйствительно есть состояніе необыкновенное. Въ немъ какъ будто ступаютъ по обломкамъ разрушившагося зданія, спѣша къ новому, котораго еще нѣтъ. И однакожъ чрезвычайное движеніе и силъ и вещей, отличающее переходныя состоянія, стремленіе къ задачамъ еще невыясненнымъ, но неизбѣжность коихъ глубоко чувствуется, самая нетерпѣливость, съ какою онѣ преслѣдуются, надежды въ нихъ сосредоточенныя, — все это доказываетъ могучую живучесть среды, гдѣ оно совершается, доказываетъ, что у ней есть вѣра въ лучшее, есть будущность. Наша литература произвела Державина, Фонвизина, Карамзина, Жуковскаго, Крылова, Пушкина и Гоголя. Заимствованныя направленія и формы съ ними постепенно теряли свой стѣсняющій, отвлеченный характеръ и превращались въ орудіе нашихъ развивающихся самостоятельныхъ силъ и художественнаго духа. Но, чтобы прійти къ такимъ результатамъ, надлежало предварительно сдѣлать то, что сдѣлано въ литературѣ Ломоносовымъ. Какимъ же образомъ могъ быть совершенъ такой художественный подвигъ лицомъ имѣвшимъ, повидимому, призваніе исключительно ученое? Могутъ ли допустить совмѣщеніе подобныхъ направленій тѣ слишкомъ строгіе спеціалисты, которые, размежевывая, по своимъ идеямъ или по недостаточнымъ наблюденіямъ, царства природы и духа на удѣлы, думаютъ, что и въ дѣйствитель-

ности все такъ есть и должно быть, какъ они раздѣлили, подраздѣлили и опредѣлили, и что кто устроился и обзавелся учеными снарядами въ одномъ изъ этихъ участковъ, тому нѣтъ уже никакого дѣла до другихъ? Силы природы и духа, въ своемъ движеніи, дѣйствительно расходятся на безконечныя, удаляющіяся другъ отъ друга разности въ своихъ низшихъ сферахъ,—и, конечно, никто не станетъ оспаривать необходимости и важности проистекающихъ отсюда отдѣльныхъ изслѣдованій и изученій. Но есть высшія сферы, куда проникаетъ знаніе, гдѣ тѣ же силы природы и духа спѣшатъ, такъ сказать, сойтись у одного центра жизни, гдѣ онѣ являются въ тѣсной родственной связи общихъ причинъ и общихъ законовъ, и гдѣ умъ мыслящій, преслѣдуя одну идею, не можетъ не видѣть и не чувствовать присутствія другой въ ихъ естественномъ, прекрасномъ сочетаніи. Такъ знаніе, отъ низшихъ его ступеней перешедшее къ высшей, не только не чуждается на сей послѣдней художественнаго воззрѣнія на вещи, но привлекаетъ его къ себѣ, и само имъ привлекается. И не въ наукѣ ли для тѣхъ, которыхъ занимаетъ не одна буква ея, лежитъ основаніе всѣхъ великихъ вѣрованій человѣчества — истиннаго и вмѣстѣ прекраснаго? Съ этой точки зрѣнія становится понятнымъ, почему всѣ высшіе умы науки сочувствовали глубоко красотамъ поэзіи; они ясно сознавали, что художественное творчество въ тѣхъ же откровеніяхъ природы и сердца человѣческаго, въ одномъ и томъ же источникѣ истины ищетъ своихъ вдохновеній и стихій для своихъ прекрасныхъ созданій, какъ и ихъ строгая мудрость своихъ удостовѣреній. Ломоносовъ принадлежалъ къ тѣмъ избраннымъ умамъ, которые, съ чуткою проницательностью въ наблюденіи явленій и подробностей, соединяютъ обширные виды въ наукѣ, которые въ одинаковой степени владѣютъ индуктивнымъ и дедуктивнымъ способомъ познаванія и вмѣстѣ съ тѣмъ только геніальнымъ дѣятелямъ свойственнымъ даромъ постиженія нерѣдко исторгаютъ у природы и жизни тайны, недоступныя никакимъ домогательствамъ умовъ рутины и ученаго формализма.

Первые проблески художественной натуры видны уже въ дѣтскихъ порывахъ и наклонностяхъ Ломоносова. За псалтирью Семеона Полоцкаго, въ пѣніи священныхъ гимновъ на клиросѣ приходской церкви, — въ этихъ занятіяхъ, къ ко-

торымъ влекла его собственная любовь и желаніе, а не чья-нибудь постороння воля, ему, безъ сомнѣнія, въ неясныхъ, смутныхъ чертахъ инстинктивно представлялись уже и высшія цѣли жизни и что-то прекрасное вдали, и отроческое его сердце наполнялось предчувствіемъ благодатнаго наитія поэзіи. Подобныя нравственныя явленія могли бы показаться невозможными въ средѣ, гдѣ родился и проводилъ свое дѣтство Ломоносовъ, если бы мы не знали, что великимъ силамъ духа дается много такого, что непримѣнимо къ людямъ обыкновеннымъ, и что геній не отъ чуждыхъ внушеній и вліяній получаетъ право и полномочіе для дѣлъ своей идеи, а отъ колыбели носитъ ихъ въ самомъ себѣ. Оттого въ душахъ людей, подобныхъ Ломоносову, все получаетъ особенный характеръ и смыслъ. Что для другихъ бываетъ дѣломъ одного внѣшняго долга, простого любопытства или привычки и исчезаетъ въ ихъ понятіи безслѣдно и безплодно, то у нихъ является задаткомъ ихъ чрезвычайной будущности и идетъ къ одному общему средоточію ихъ исключительныхъ влеченій и призванія. Художественное настроеніе, пробудившееся въ раннемъ возрастѣ Ломоносова, осталось съ нимъ неразлучнымъ въ теченіе всей его ученой и умственной дѣятельности, какъ одно изъ замѣчательнѣйшихъ свойствъ его генія. Непреодолимое внутренее влеченіе къ чему-то высшему, нежели труды рыбака и женитьба въ деревнѣ, жажда знанія и впечатлѣній, ожидаемыхъ въ другой лучшей средѣ, увлекли его въ стѣны московскаго Заиконоспасскаго училища; тамъ представилась ему столь нетерпѣливо имъ желаемая наука, но наука во всей непривлекательности своего схоластическаго формализма, слѣдовательно способная скорѣе погасить всякое эстетическое чувство, чѣмъ поощрить его и развить. За границу онъ былъ посланъ съ весьма спеціальною цѣлью обучаться металлургіи и, разумѣется, тѣмъ наукамъ, при содѣйствіи коихъ она сама могла быть наукою. Жребій, казалось, былъ брошенъ. Ломоносовъ долженъ сдѣлаться ученымъ въ извѣстномъ, опредѣленномъ и довольно тѣсномъ смыслѣ слова, и при достаточныхъ способностяхъ, необходимыхъ хорошему спеціалисту и технику, положить основаніе въ Россіи одной полезной отрасли знанія и, можетъ-быть, остаться практическимъ дѣятелемъ по какой-нибудь технической части. Онъ дѣй-

ствительно трудился на назначенномъ для него поприщѣ съ блистательнымъ успѣхомъ не только потому, что былъ одаренъ великими способностями, но и потому, что вездѣ въ состояніи былъ открывать высшій интересъ мысли и знанія. Философія, математика, физика, химія — въ Марбургѣ, труды надъ разработкою металловъ — въ Фрейбургѣ не только открываютъ ему строгія научныя данныя и пріемы, но и указываютъ на задачи, которыя онъ самъ будетъ рѣшать съ знаменитыми учеными Европы. Всего этого, однако, было для него не довольно. Его художественные инстинкты стремились выразиться соотвѣтственнымъ себѣ образомъ, и притомъ не въ одномъ сочувствіи къ красотамъ доступныхъ ему чуждыхъ литературъ, но и въ покушеніи создать что-либо подобное для своего отечества. Онъ изощрялъ свои производительныя силы на образцахъ этихъ литературъ, стараясь изучить ихъ основательно. Изъ донесенія о книгахъ, купленныхъ на счетъ правительства, мы видимъ, что его занимали не одни сочиненія ученаго содержанія, но также творенія великихъ поэтовъ и сочиненія, къ теоріи словесности относящіяся. Весьма важнымъ затрудненіемъ для Ломоносова въ его художественныхъ, поэтическихъ опытахъ былъ языкъ. Въ замкнутыхъ хранилищахъ духа и состава народнаго языка таились великія силы; но всѣ, кому приходилось имѣть дѣло съ высшими или отвлеченными понятіями, считали его неспособнымъ для ихъ выраженія. Отдѣлясь отъ народа и положеніемъ своимъ, и схоластическимъ образованіемъ, никто изъ нихъ не въ состояніи былъ понять и оцѣнить ни выразительности народной рѣчи, ни лексикологическаго ея обилія и синтаксической гибости, чтобы воспользоваться ими и примѣнить ихъ къ выраженію высшихъ идей. Изъ смѣси всевозможныхъ чуждыхъ словъ и оборотовъ, въ соединеніи съ формами церковно-славянскими, писатели до-Ломоносовскаго времени составили себѣ какой-то дикій и неудобопонятный языкъ, который былъ, впрочемъ, неизбѣжнымъ отпечаткомъ самого смѣшенія и сбивчивости идей, не обработанныхъ и не утвержденныхъ живою наукою и художественнымъ чувствомъ. Ломоносовъ, конечно, не могъ быть удовлетворенъ этимъ языкомъ; онъ искалъ твердой опоры для выраженія своихъ мыслей и думалъ найти ее на освященной вѣками почвѣ церковно-славянскаго языка.

Его теорія вполнѣ согласовалась съ этимъ. Но здравое народное чувство, свѣтлый умъ и способность постигать то, что скрыто отъ преднамѣреннаго усилія другихъ,— постигать вопреки господству традицій и искушеніямъ школы, на дѣлѣ обратили его къ источникамъ, откуда принялъ онъ и силы духа, и помазаніе на свое высокое служеніе — къ источникамъ народности. Дѣйствуя въ высшихъ сферахъ науки и искусства для нравственнаго возвышенія и просвѣщенія своего народа, онъ чувствовалъ, что все, что изъ этихъ сферъ можетъ быть принято народомъ, можетъ быть принято и усвоено имъ не иначе, какъ въ звукахъ своей живой родной рѣчи. Положить этому начало — значило совершить подвигъ отъ котораго зависѣлъ благоуспѣшный ходъ науки и литературы въ Россіи. Совершить его однако было нелегко. Языкъ русскій сохранился чистымъ и неприкосновеннымъ отъ всякаго наплыва чуждыхъ элементовъ въ устахъ народныхъ массъ. Все же это былъ богатый, но сырой матеріалъ. Его нужно было воздѣлать, приходилось имѣть дѣло съ словами, никогда не переходившими предѣловъ житейской потребности мысли, простого естественнаго движенія чувства, съ оборотами рѣчи, единообразно сложившимися въ единообразномъ ходѣ и сочетаніи идей. И вотъ слово, съ которымъ въ теченіе вѣковъ привыкли сопрягать извѣстное значеніе только въ извѣстномъ кругу понятій, теперь должно было войти въ иной кругъ и тамъ, отъ другого же характера мысли, среди другихъ ея отношеній, не измѣняя своей породы и коренного значенія, получить, такъ сказать, во имя новаго своего положенія, новыя права, новый оттѣнокъ смысла, силу и выразительность. Съ тѣмъ вмѣстѣ и способность свободнаго построенія, природная діалектика русской рѣчи теперь должна была сойтись и уживаться съ многоразличными комбинаціями мысли, научной и художественно-литературной. Чтобы дѣломъ, употребленіемъ освятить и узаконить всѣ эти нововведенія, требовались смѣлая рѣшимость, точность и необыкновенная сила мышленія, знаніе духа языка и еще нѣчто, чего не даетъ самое знаніе — вѣрное чувство, геніальное чутье истины и способовъ ея практическаго приложенія, именно все то, что мы находимъ въ Ломоносовѣ. Изъ коренныхъ стихій, заключающихся въ природѣ языка, подъ перомъ его образовались выраженія и обороты, отличные отъ тѣхъ, которые

слышались въ устахъ народа, но не чуждые ему именно по самымъ этимъ стихіямъ. Это былъ языкъ, нѣкоторымъ образомъ, искусственный, потому что сложился не самъ собою, а съ помощью внѣшней образовательной силы, и въ то же время чистый русскій языкъ, потому что сложился изъ его собственныхъ матеріаловъ. Что вначалѣ могло быть въ немъ слишкомъ искусственнымъ по необходимости времени и не довольно гибкимъ, то могло легко, при дальнѣйшемъ самостоятельномъ умственномъ развитіи, уничтожиться и улучшиться, между тѣмъ какъ то, что установилось вопреки законамъ и духу языка, должно было, развиваясь и совершенствуясь постепенно, дополнить общенародный языкъ изъ его же соковъ новымъ ростомъ и вѣтвями, вызванными потребностями науки и литературы. Языкъ стихотворный усвоиваетъ себѣ особенное ритмическое устройство, и Ломоносову, желавшему выразить свое художественное направленіе и въ этой формѣ, предстояло и для него найти элементы. Всего, повидимому, естественнѣе было обратиться для того къ мѣрной рѣчи нашей народной пѣсни и эпоса, и Ломоносову, по его отношеніямъ къ нашей народности, казалось бы слѣдовало сдѣлать подобный шагъ. Но не должно забывать, что роль его была роль посредника между силами нашей народности и общечеловѣческими началами образованія. Неизбѣжнымъ слѣдствіемъ такого неизбѣжнаго положенія было то, что онъ долженъ былъ во многомъ придерживаться основныхъ идей и образцовъ, представлявшихся ему у народовъ, далеко опередившихъ насъ на пути гражданственности, умственнаго и эстетическаго развитія и сдѣлавшихся учителями его и нашими. Надобно удивляться проницательности, съ какою онъ умѣлъ находить точки соприкосновенія или совпаденія между разнородными началами, подлежавшими такому сближенію. Нѣмецкое стихосложеніе дало ему поводъ воспользоваться законами нашей тоники, чтобы дать стиху нашему нѣкоторое подобіе древняго метра, и что это не было насиліемъ языку доказывается, что стихосложеніе Ломоносова быстро усвоилось нашей поэзіей и безпрекословно принято обществомъ. Правда, за нѣсколько лѣтъ до его опытовъ, основанія нашего новаго стихосложенія были найдены и изложены ученымъ, коего почтенные труды въ наукѣ должны бы давно искупить его тяжкія вины противъ поэзіи. Я разумѣю Тредьяковскаго. Но Ломо-

носовъ основался на другихъ соображеніяхъ и не на теоріи Тредьяковскаго, а главное, онъ создалъ то, о чемъ другой только помышлялъ, или что столь неудачно примѣнилъ къ дѣлу, — и достигъ этого не однимъ соблюденіемъ механизма и внѣшнихъ условій стихотворной рѣчи, а ея внутренней гармоніей, логическою стройностью, легкостью и красотою поэтической пластики. Въ первомъ стихотвореніи его — одѣ, переведенной изъ Фенелона, видно, какъ вначалѣ онъ боролся съ трудностями языка; но потомъ, какимъ побѣдителемъ надъ ними онъ является въ одѣ на *взятіе Хотина!* Въ послѣдующихъ произведеніяхъ языкъ его уже не затрудняетъ; имъ созданный, онъ, въ извѣстныхъ, на время установившихся предѣлахъ, послушно слѣдуетъ за теченіемъ и видоизмѣненіями его стройной и величавой мысли, въ прозѣ все болѣе и болѣе сглаживаясь въ своихъ шероховатостяхъ и освобождаясь отъ вліянія латинской конструкціи, въ стихотвореніяхъ возвышаясь до неукоризненной чистоты, поразительнаго благородства, блеска и сладкозвучія. Художественное стремленіе такимъ образомъ не стѣсняется уже въ своихъ проявленіяхъ, получаетъ опредѣленность, упрочивается, потому что имѣетъ уже свой органъ. Права его обозначены и утверждены въ фактѣ языка — это уже не теорія, не замыселъ — это дѣйствительность, и дѣйствительность не для одного своего виновника, но и для слѣдующихъ поколѣній. Оно становится ощутительнымъ у него вездѣ, потому что составляетъ одно изъ существенныхъ качествъ его натуры и преимущественно той степени, какую онъ занимаетъ въ наукѣ. Если вы обратите вниманіе на его трактаты, гдѣ разсматриваются важнѣйшіе вопросы современной науки, — о пользѣ химіи, о свѣтѣ, о воздушныхъ явленіяхъ и пр., даже на его письма и проекты о способахъ дать наукѣ въ Россіи большее развитіе объ устройствѣ академіи, — если вы, говорю, обратите вниманіе на все это, вы будете изумлены не только вѣрностью взглядовъ, богатствомъ знанія, силою, строгою послѣдовательностью и ясностью его мыслей, но картинностью самаго точнаго изложенія, искусною группировкою подробностей предмета, въ которой истина, такъ сказать, отливается въ видимую, осязательную форму и ставится на пьедесталъ, какъ со всѣхъ сторонъ доконченная и отработанная цѣлость. Вы увидите

здѣсь и мастера-мыслителя и мастера-художника. И все это ново, неожиданно, оригинально, все возникло, такъ сказать вдругъ, разомъ, не исключая научной техники и терминологіи. Кто со вниманіемъ читалъ хоть металлургію Ломоносова, особенно второе прибавленіе къ ней, тотъ убѣдился, конечно, что она и нынѣ можетъ служить образцомъ ученаго и вмѣстѣ изящнаго изложенія. Реторика его есть, по содержанію своему, настоящій продуктъ времени; она и не могла быть у насъ иною, нежели какою была въ современныхъ Ломоносову школахъ Европы. Но ею проложенъ у насъ путь къ изученію одного изъ важнѣйшихъ явленій нравственнаго міра — къ изученію изящной словесности. Пока наша художественная дѣятельность не достигла степени самостоятельнаго творчества, она должна была подчиниться и подчинялась условіямъ, выработаннымъ и принятымъ образованными народами, съ которыми намъ предстояло трудиться для исторіи Она должна была сперва устроиться на почвѣ существенной техники, чтобы перейти на почву техники новой, освобожденной отъ традицій, вполнѣ сообразной съ новымъ движеніемъ человѣческаго духа и успѣхами нашего собственнаго образованія. Ломоносовъ съ его художественною натурою, съ его вѣрнымъ взглядомъ на все, что представлялось его уму, не могъ не понимать, что однихъ правилъ недостаточно для знакомства съ требованіями литературы; онъ наполнилъ свою реторику образцами и примѣрами, отчасти избранными и переведенными имъ изъ лучшихъ писателей, а отчасти имъ самимъ созданными, которые, въ началѣ нашего литературнаго образованія, служили для юношества единственною и лучшею у насъ хрестоматіей.

Разливая на всѣ высшія отправленія мысли прелесть эстетическаго одушевленія и жизни, образуя для нихъ языкъ, Ломоносовъ творцомъ нашей изящной словесности преимущественно является въ своихъ стихотвореніяхъ. Я остановлюсь исключительно на тѣхъ изъ его произведеній этого рода, которыя непосредственнѣе, сильнѣе, дольше дѣйствовали на общество наше и на литературу, — на его лирическихъ созданіяхъ, одахъ. Начало поэмы *Петръ Великій* содержитъ въ себѣ замѣчательныя красоты описательной поэзіи, но онъ не успѣлъ развить въ ней ни характера героя ни эпическаго дѣйствія. Въ двухъ его трагедіяхъ господствуютъ также

описательный и лирическій элементы. Въ нихъ нѣтъ и не могло быть драмы. Ни едва только начинавшаяся литература, ни общество наше не находились еще въ тѣхъ условіяхъ, при которыхъ она возможна. Трагедіи и комедіи Сумарокова, какъ зрѣлище, по новости своей, могли нравиться обществу и, конечно, содѣйствовали къ основанію и утвержденію у насъ театра. Но Ломоносова они не могли удовлетворить, и, конечно, не безъ внутренней готовности и расположенія, онъ приступилъ къ выполненію воли правительства, пожелавшаго отъ него драмы. Такъ современники вѣровали въ дарованія его и считали для нихъ все возможнымъ. Ломоносовъ могъ отвѣчать на этотъ вызовъ не созданіемъ, удовлетворяющимъ своей идеѣ, а только многими прекрасными стихами. Надлежало царствованію Екатерины вступить въ лучшій свой періодъ, чтобы у насъ могла начаться истинная и своеобразная драма, сперва въ формѣ комедіи — и она дѣйствительно началась съ Фонвизинымъ. И поэма и трагедіи Ломоносова составляютъ попытки въ новой для насъ сферѣ литературы, но попытки геніальнаго человѣка, который стремится проложить пути ко всему великому и прекрасному, сіяющему предъ нимъ на дальнемъ горизонтѣ русской мысли и русскаго творчества.

Обращаясь къ лирикѣ Ломоносова, этому главному выраженію его художественнаго настроенія, мы въ сужденіяхъ нашихъ о ея мотивахъ и содержаніи должны руководствоваться не какой-либо теоріей, а историческимъ способомъ пониманія, единственнымъ, которымъ опредѣляется значеніе и достоинство дѣятелей исторіи и того, что они сдѣлали.

Перенесемся на минуту въ XVIII столѣтіе, къ началу второй его половины. Тамъ является передъ нами дочь Петра, съ русскимъ сердцемъ, на тронѣ, возстановляющая духъ народный послѣ отступленія и разслабленія, наведенныхъ на него антинаціональнымъ государственнымъ развратомъ бироновщины. Тамъ начинается царствованіе Екатерины, этой дивной государыни, которая, силою своего необычайнаго генія, умѣла въ себѣ космополитическую душу пересоздать въ душу русскую, которая въ великомъ государствѣ открыла народъ, могущій и достойный быть великимъ и дала ему это почувствовать своими учрежденіями и уваженіемъ къ его нуждамъ и правамъ. Ломоносовъ принадлежалъ одному изъ этихъ

царствованій и касался другого. Ужасъ, оковывавшій умы въ предшествовавшую эпоху, разсѣялся; пробужденные Петромъ, они начинаютъ, такъ сказать, расправлять свои силы, поворачиваться къ свѣту, который распространялся мало-помалу надъ страною. Въ тихомъ мерцаніи зари зарождался новый день, полный отрадныхъ предчувствій и надеждъ, полный довѣрія къ будущему. Предъ взоромъ, обозрѣвающимъ тогдашнее состояніе вещей, являются три главные предмета, достойные одушевить и мысль и талантъ: живое, въ полномъ цвѣтѣ своемъ воспоминаніе о Петрѣ, многозначащее положеніе, которое Россія, какъ государство, спѣшитъ занять и укрѣпить за собою въ Европѣ, и первые проблески національнаго самочувствованія. Энергическая душа Ломоносова, никогда не разъединявшая въ себѣ интересовъ науки отъ интересовъ жизни, и этихъ послѣднихъ отъ судебъ отечества, не могла не чувствовать глубоко того, что представляла ему окружавшая его среда въ своихъ господствовавшихъ явленіяхъ и моментахъ. Тамъ все было полно какой-то торжественности и величія, склонявшихся къ восторгамъ и паренію гимна. И звучная лира Ломоносова естественно настроилась на этотъ тонъ. Прилагать критеріумъ нашего времени къ сужденію о поэтическомъ характерѣ и движеніи мыслей и чувствованій, образовавшихся подъ вліяніемъ другихъ началъ и другой судьбы, значило бы то же самое, что разсматривать въ телескопъ предметы, разсѣянные около насъ на землѣ въ тѣсномъ пространствѣ, или микроскопомъ наблюдать движеніе тѣлъ небесныхъ. Основные мотивы лирики Ломоносова не разлагаются на свои стихи, не развертываются въ обиліи своего содержанія. Они выступаютъ у него въ общихъ слитыхъ чертахъ и обозначаются болѣе направленіемъ, какое даютъ духу поэта, чѣмъ развитіемъ. Это первый утренній порывъ пробужденнаго чувства, звучный кликъ новой жизни, выраженіе мысли, не исчерпывающей дѣятельности, а парящей надъ ней. Несмотря, однакожъ, на стѣснительныя условія тогдашней техники поэзіи, несмотря на необходимостъ прибѣгать къ извѣстнымъ реторическимъ пріемамъ, вытекавшую вообще изъ духа и направленія прежней литературы, Ломоносовъ и здѣсь въ торжественномъ тонѣ хвалебнаго гимна умѣлъ соединить силу истиннаго лирическаго чувства съ образами, отмѣченными чертами блестящей поэ-

тической фантазіи. Образъ Петра повсюду сіяетъ передъ нимъ, какъ путеводная звѣзда всѣхъ его стремленій, всѣхъ думъ. Не напрасно говоритъ онъ въ своемъ посвятительномъ письмѣ къ Шувалову при предоставленіи ему первыхъ пѣсней своей поэмы:

За кѣмъ же я пойду? Въ вслѣдъ правиламъ Петровымъ.

Онъ завѣщаетъ будущему довершить свой трудъ прославленія героя:

И если въ полѣ семъ прекрасномъ и широкомъ
Преторгнется мой вѣкъ недоброхотнымъ рокомъ,
Цвѣтущимъ младостью останется умамъ,
Что мной проложеннымъ послѣдуетъ стопамъ.
Довольно таковыхъ сыновъ родитъ Россія.

Свою возлюбленную Россію онъ олицетворяетъ слѣдующимъ образомъ:

Въ поляхъ исполненныхъ плодами,
Гдѣ Волга, Днѣпръ, Нева и Донъ,
Своими чистыми струями
Шумя, стадамъ наводятъ сонъ,
Сидитъ и ноги простираетъ
На степь, гдѣ Хиву отдѣляетъ
Пространная стѣна отъ насъ.
Веселый взоръ свой обращаетъ
И вкругъ довольства исчисляетъ,
Возлегши локтемъ на Кавказъ.
Се нашею, рекла, рукою
Лежитъ поверженный Азовъ;
Рушитель нашего покою
Огнемъ казненъ среди валовъ.
Се знойные каспійски браги,
Гдѣ варварски презрѣвъ побѣги,
Сквозь степь и блата Петръ прошелъ,
Въ средину Азіи достигнулъ,
Свои знамена тамъ воздвигнулъ,
Гдѣ день скрываютъ тучи стрѣлъ.
Въ моей послушности крутятся
Тамъ Лена, Обь и Енисей,
Гдѣ многіе народы тщатся
Драгихъ мнѣ въ даръ ловить звѣрей;
Едва покровъ себѣ имѣя,
Смѣются лютости борея,
Чудовищамъ дерзаютъ въ слѣдъ,
Гдѣ верхъ до облакъ простираетъ,

Угрюмы тучи раздираетъ,
Поднявшись съ дна морского, ледъ.
Здѣсь Днѣпръ хранитъ мои границы,
Гдѣ готеъ гордящійся упалъ
Съ торжественныя колесницы,
При коей въ узахъ онъ держалъ
Сарматовъ и саксоновъ плѣнныхъ;
Вселенну въ мысляхъ вознесенныхъ
Единой обращалъ рукой.
Но палъ и звукъ его достигнулъ
Во всѣ страны, и страхомъ двигнулъ
Съ дунайской Вислу быстротой.

Хвалы, расточаемыя Ломоносовымъ Елизаветѣ, совсѣмъ не есть одна дань обычаю и панегирическая реторика. Я сказалъ выше, какое значеніе имѣла эта государыня для своего времени. Кромѣ того, она, видимо, благопріятствовала просвѣщенію; при ней родился Московскій университетъ; она оказала вниманіе и благорасположеніе къ ученымъ и литературнымъ заслугамъ Ломоносова, охраняя его, какъ одно изъ лучшихъ украшеній своего царствованія, снисходила даже къ пылкости его характера. Много мѣстъ въ его одахъ, гдѣ говоритъ истинное чувство и одушевленіе. Приведу слѣдующія строфы, гдѣ онъ убѣждаетъ императрицу посѣтить Москву, еще не поправившуюся послѣ истребительнаго пожара:

Гряди, краснѣйшая денницы,
Гряди, и свѣтлостью лица
И блескомъ чистой багряницы
Утѣшь печальныя сердца,
И время возврати злотое.
Мы здѣсь въ возлюбленномъ покоѣ
Къ полезнымъ припадемъ трудамъ.
Отсутствуя, ты будешь съ нами:
Покрытый орлими крылами,
Кто смѣетъ прикоснуться намъ?
Но если гордость ослѣпленна
Дерзнетъ на насъ воздвигнуть рогъ,—
Тебѣ, въ женахъ благословенна,
Противъ нея помощникъ Богъ.
Онъ верхъ небесъ къ тебѣ преклонитъ
И тучи страшныя нагонитъ
Во отраженіе врагамъ твоимъ.
Лишь только ополчишься къ бою
Предыдетъ ужасъ предъ тобою,
И слѣдомъ воскурится дымъ.

Замѣчательнѣйшія изъ лирическихъ стихотвореній Ломоносова, удостовѣряющія въ несомнѣнномъ его поэтическомъ одушевленіи, суть тѣ, гдѣ господствуетъ религіозное чувство или воззрѣніе на природу, къ которому приводитъ мыслящій умъ человѣческій глубокое изученіе ея законовъ. Священное Писаніе даетъ содержаніе для произведенія перваго рода. Изъ боговдохновенныхъ пѣснопѣній Давида и книги Іова онъ почерпнулъ, къ сожалѣнію, немногіе отрывки, въ которыхъ ясное пониманіе духа этихъ возвышенныхъ созданій онъ соединилъ съ прелестію языка свѣжаго, богатаго оборотами поразительной силы блестящаго колорита. Но вниманіе изслѣдователя литературы обращается, преимущественно на два оригинальныя небольшія стихотворенія его: *Утреннее и вечернее размышленіе о Божіемъ величествѣ*, послѣднее при *случаѣ сѣвернаго сіянія*, не разъ, вѣроятно, останавливавшаго на себѣ задумчивый взоръ будущаго своего наблюдателя на дальнемъ сѣверѣ, еще въ дѣтствѣ. Здѣсь естествоиспытатель, изъ круга опытныхъ изслѣдованій, поднимается до той высоты идей, гдѣ добытыя имъ истины открываютъ передъ нимъ зрѣлище величія, красоты и гармоніи въ божественномъ міроустройствѣ. Нашъ изслѣдователь и ученый становится истиннымъ поэтомъ, подобно Гумбольдту, который въ своихъ созерцаніяхъ природы проникается поэтическимъ чувствомъ всегда, когда взоръ его обнимаетъ въ цѣломъ поприще пройденныхъ имъ наблюденій, когда космосъ является передъ нимъ въ значеніи мірозданія и въ значеніи благоустройства, красоты. Я приведу здѣсь часть одной изъ пьесъ Ломоносова и другую вполнѣ. Вотъ изображеніе солнца, гдѣ въ тѣсной рамѣ онъ мастерски сгруппировалъ понятія о физическихъ свойствахъ солнца, какъ представлялись они въ современной ему наукѣ. Достоинство картины не теряется и теперь при расширившихся наблюденіяхъ и новомъ взглядѣ на предметъ.

Когда бы смертнымъ столь высоко
Возможно было возлетѣть,
Чтобъ къ солнцу бренно наше око
Могло, приблизившись, воззрѣть:
Тогда бъ отъ всѣхъ открылся странъ
Горящій вѣчно океанъ.
Тамъ огненны валы стремятся
И не находятъ береговъ,
Тамъ вихри пламенны крутятся

Борющись множество вѣковъ;
Тамъ камни, какъ вода, кипятъ,
Горящи тамъ дожди шумятъ.

Вотъ вечернее размышленіе о Божіемъ величествѣ къ изображеніи сѣвернаго сіянія:

Лицо свое скрываетъ день,
Поля покрыла мрачна ночь;
Взошла на горы мрачна тѣнь;
Лучи отъ насъ склонились прочь.
Открылась бездна звѣздъ полна;
Звѣздамъ числа нѣтъ, безднѣ дна.
Песчинка какъ въ морскихъ волнахъ,
Какъ мала искра въ вѣчномъ льдѣ,
Какъ въ сильномъ вихрѣ тонкій прахъ,
Въ свирѣпомъ какъ перо огнѣ,
Такъ я въ сей безднѣ углубленъ
Теряюсь, мысльми утомленъ.
Уста премудрыхъ намъ гласятъ:
Тамъ разныхъ множество міровъ,
Несчетны солнца тамъ горятъ,
Народы тамъ и кругъ вѣковъ:
Для общей славы божества
Тамъ равна сила естества.
Но гдѣ жъ, натура, твой законъ?
Съ полночныхъ странъ встаетъ заря;
Не солнце ль ставитъ тамъ свой тронъ?
Не льдисты ль мещутъ огнь моря?
Се хладный пламень насъ покрылъ!
Се въ нощь на землю день вступилъ!
О вы, которыхъ быстрый зракъ
Пронзаетъ въ книгу вѣчныхъ правъ,
Которымъ малой вещи знакъ
Являетъ естества уставъ!
Вамъ путь извѣстенъ всѣхъ планетъ!
Скажите, что насъ такъ мятетъ?
Что зыблетъ ясный ночью лучъ?
Что тонкій пламень въ твердь разитъ?
Какъ молнія безъ грозныхъ тучъ
Стремится отъ земли въ зенитъ?
Какъ можетъ быть, чтобъ мерзлый паръ
Среди зимы рождалъ пожаръ?
Тамъ споритъ жирна мгла съ водой;
Иль солнечны лучи блестятъ,
Склонясь сквозь воздухъ къ намъ густой;
Иль тучныхъ горъ верхи горятъ;

Иль въ море дуть престалъ зефиръ
И гладки волны бьютъ въ эѳиръ.
Сомнѣній полонъ вашъ отвѣтъ
О томъ, что окрестъ ближнихъ мѣстъ:
Скажите жъ, сколь пространенъ свѣтъ?
И что малѣйшихъ далѣ звѣздъ?
Невѣдомъ тварей вамъ конецъ:
Скажите жъ, коль великъ Творецъ!

Дѣйствіе художественныхъ произведеній Ломоносова на умы было могущественно. Въ нихъ люди мыслящіе привѣтствовали рожденіе изящной нашей литературы. Люди высшаго общества, увлеченныя сладкозвучіемъ русской рѣчи, впервые поразившимъ слухъ ихъ, чрезъ нее стали сближаться и съ самыми идеями, которыхъ Ломоносовъ былъ провозвѣстникомъ. Въ немъ почли они начатки русскаго образованія и окружили перваго двигателя его своимъ уваженіемъ, котораго онъ не добивался, но которое возбудилъ, какъ возбуждается оно во всѣхъ и на всякомъ мѣстѣ истиннымъ умственнымъ превосходствомъ. Но не въ одномъ высшемъ кругу ощутительно было вліяніе его: оно проникло въ ту часть народной массы, гдѣ была распространена грамотность; тамъ между громкими историческими именами, сдѣлавшимися народными, ярко звучало имя Ломоносова. Народъ не могъ понимать ученыхъ его подвиговъ и заслугъ; но онъ безсознательно чувствовалъ мощь этого ума, въ которомъ онъ чтилъ то первенца своихъ умственныхъ силъ, то ихъ воспитателя. Онъ инстинктивно понималъ и тѣ указанія на новое положеніе вещей въ Россіи, которыя выражались въ его торжественныхъ одахъ, и этотъ величавый языкъ, который образовался подъ вліяніемъ высшихъ идей и, казалось, былъ столько отличенъ отъ общенародной рѣчи, и между тѣмъ былъ такъ близокъ къ народу по своей ясности и по своимъ кореннымъ основаніямъ. *Никитенко.*

Ломоносовъ въ борьбѣ съ гонителями наукъ.

Мы знаемъ, что Ломоносовъ былъ физикомъ, химикомъ, минералогомъ, геологомъ, металлургомъ, астрономомъ, географомъ, статистикомъ, когда наука эта едва зарождалась, гигіенистомъ, далѣе: историкомъ, грамматикомъ, поэтомъ,

ораторомъ, педагогомъ, профессоромъ-академикомъ. Сколько разнородныхъ и разнобразныхъ знаній, требующихъ, для отличія въ нихъ, самыхъ рѣшительныхъ дарованій, приковывающихъ навсегда къ себѣ, и только послѣ усиленныхъ и долгихъ занятій, доставляющихъ вѣрнымъ жрецамъ своимъ въ награду нѣкоторую долю извѣстности! А онъ, сынъ простого помора, проведшій лучшіе годы молодости, помогая отцу добывать трудовую копейку, начавшій учиться, когда большинство поканчиваютъ уже, онъ не только догоняетъ обогнавшихъ его, но и идетъ во главѣ всѣхъ какъ въ школѣ, такъ равно и на поприщѣ дальнѣйшей дѣятельности. И съ какою легкостью движется онъ по всѣмъ этимъ отраслямъ человѣческаго вѣдѣнія, какимъ успѣхомъ сопровождаются всѣ его дѣйствія въ оныхъ! Во всемъ необыкновенная удача; къ чему ни коснется — открытіе, и самое хорошее старое въ рукахъ его становится еще лучшимъ, а нерѣдко принимаетъ совершенно новый видъ и кажется новымъ изобрѣтеніемъ. На всемъ несомнѣнная печать генія.

Въ самомъ дѣлѣ, всѣ починанія Ломоносова обнаруживаютъ огромное, необыкновенно быстрое соображеніе, которое охватываетъ разсматриваемый предметъ со всѣхъ сторонъ, во всей его цѣлости и частностяхъ, въ его отношеніяхъ къ другимъ въ прошломъ, настоящемъ и будущемъ. Нигдѣ не шелъ онъ битою дорожкой, но самъ пролагалъ себѣ пути, не зналъ препятствій при рѣшеніи самыхъ трудныхъ и сложныхъ вопросовъ, творилъ мгновенно, какъ только представлялся къ тому случай, не вѣдая напряженія, не испытывая недовѣрія въ свою творческую силу, истекавшую отъ постояннаго вдохновенія. Оттого, за что ни принимался онъ, все было ему подъ силу, по немъ, всюду являлся онъ мастеромъ, удивлявшимъ посѣдѣвшихъ въ своей области и достигшихъ извѣстнаго совершенства въ ней только долговременнымъ трудомъ, постепеннымъ и копотливымъ навыкомъ, нерѣдко отнимавшимъ половину цѣлой жизни. Вспоминая совершонное имъ, мы невольно повторяемъ себѣ слова, сказанныя кѣмъ-то о первомъ геніи нашего вѣка: „Да, этотъ человѣкъ все могъ дѣлать, умѣлъ дѣлать и хотѣлъ дѣлать“. Его не страшили никакія нечаянности, никогда не терялся онъ при видѣ ихъ, сразу обходилъ препоны, всегда избиралъ прямѣйшій и вѣрнѣйшій путь къ цѣли, и потому

сразу и успѣвалъ. Разумѣется, несовершенство — удѣлъ человѣческій; но несовершенства у него — исключенія, какъ и у всякаго генія, въ силу извѣстнаго изреченія древности: „Quandoque et bonus dormitat Homerus“. И геній — сынъ человѣчъ; и на немъ также въ извѣстной степени лежитъ печать несовершенства всего существующаго въ поднебесной; и онъ, дѣйствуя въ данное время и въ данной средѣ, не чуждъ недостатковъ того и другой: „Vitia saeculi atque generis, non hominis“.

Но эта-то человѣческая скудель и была желанной опорой для противодѣйствія Ломоносову его недругомъ: однако самый злой и наименѣе добросовѣстный между ними, первовиновникъ всѣхъ неустройствъ въ академіи и ея плачевнаго состоянія во все время нахожденія въ ней Ломоносова, и тотъ, несмотря на безмѣрную ненависть къ нему, не отрицалъ все-таки въ немъ геніальности. Это засвидѣтельствовалъ онъ въ письмѣ своемъ къ знаменитому Эйлеру (1-го января 1754 г.). „Сдѣшніе Профессоры и Академики, писалъ онъ, не отрицаютъ, что Надворный Совѣтникъ и Профессоръ Ломоносовъ весьма замѣчательный геній, и по тому имѣетъ особенное передъ другими преимущество; только они не могутъ терпѣть его кичливости и высокаго о себѣ мнѣнія. Въ особенности не прощаютъ ему того, какъ онъ осмѣливается въ своихъ сочиненіяхъ нападать, въ обществѣ ученыхъ, на столь извѣстныхъ мужей. Словомъ, какъ сдѣшніе, такъ и чужіе, недовольны поведеніемъ Г. сочинителя“ (см. Чтенія въ Импер. Обществѣ Исторіи и Древн. Росс. 1865 г., кн. 2, отд. V, стран. 19).

Точно, весьма немногіе были довольны Ломоносовымъ; но къ чести его надо замѣтить, эти немногіе принадлежали къ числу лучшихъ силъ академіи. Изъ нихъ геніальный Эйлеръ при каждомъ случаѣ съ особеннымъ чувствомъ отзывался о Ломоносовѣ, то „удивляясь проницательности и глубинѣ его ума въ изъясненіи крайне трудныхъ химическихъ вопросовъ“, говоря, что „въ истолкованіи ихъ онъ далече отъ принятаго у Химиковъ порядка отступилъ и съ обширнымъ искуствомъ въ практикѣ высокое знаніе всюду соединилъ“ (письмо его къ Ломоносову, отъ 23 марта 1748 г.); то признаваясь, что его „всегда поражало счастливое его остроуміе, которымъ въ толь разныхъ наукахъ превосход-

ствовалъ, и естественныя явленія съ особливымъ успѣхомъ теоретически изъяснялъ“ (письмо отъ 30 марта 1754 г.); то называя нѣкоторыя „произведенія его совершенствомъ“ (напр., „Панегирикъ“), („Чтенія“ 1865 г., кн. 2, V, стран. 70). Не позволивъ увлечь себя въ скопъ противъ Ломоносова. Эйлеръ торжественно одобрилъ „Разсужденія“ его, отправленныя къ нему въ Берлинъ его недоброжелателями, „конечно, съ тѣмъ, замѣчаетъ Ломоносовъ (въ „Краткой Исторіи Академіи Наукъ“, § 26; см. „Чтенія“ 1865 г., кн. 1, отд. V, стран. 76), чтобы ихъ онъ охулилъ“; но Эйлеръ, возвращая оныя, писалъ: „Сіи Диссертаціи не токмо хороши, но и весьма превосходны: ибо онъ пишетъ о матеріяхъ физическихъ и оптическихъ весьма нужныхъ, которые по нынѣ не знали и истолковать не могли самые остроумные люди, и это онъ учинилъ съ такимъ успѣхомъ, что я совершенно увѣренъ въ справедливости его объясненій, а по тому долженъ отдать справедливость Г. Ломоносову въ томъ, что онъ имѣетъ превосходное дарованіе къ изъясненію физическихъ и химическихъ явленій, и желалъ бы, чтобы и другія Академіи въ состояніи были произвесть такія откровенія (открытія), какія показалъ онъ“ (письмо къ графу К. Г. Разумовскому). Когда, невзирая на то, все-таки „Разсужденія мои, говоритъ Ломоносовъ, были самымъ безсовѣстнымъ образомъ разруганы моими недругами въ Лейпцигскихъ Ученыхъ Сочиненіяхъ“, въ защиту ихъ возвысилъ голосъ другой академикъ берлинскій, извѣстный Формей, который, напечатавъ одно изъ нихъ въ своемъ журналѣ и, препровождая особый оттискъ его къ сочинителю, писалъ (27 мая, 1755 г.): „Самый долгъ требовалъ того, чтобы защитить толь праведное дѣло отъ такихъ несправедливыхъ поносителей“.

Отчего же происходила такая заклятая вражда къ Ломоносову? Быть не можетъ, чтобы отъ одной только ученой спеси, высокомѣрія или перебранки съ собратами, обыкновенной въ то время между учеными цѣлой Европы, а у насъ и подавно. Потому, что противорѣчія его имъ шли совсѣмъ изъ другого источника, хотя и старались критикѣ его придать побужденія нечестныя, каковы: возстаніе противъ властей (см. рапортъ Миллера графу Разумовскому, отъ 12 января 1755 г., въ „Чтеніяхъ“ 1865 г., кн. 1, V, стран. 136), честили его изступленнымъ, съ ножомъ въ ру-

кахъ, замыслившимъ погубить академію (тамъ же, стран. 141, письмо его къ Теплову, отъ 12 марта 1761 г.). Но лучше послушаемъ, какъ самъ Ломоносовъ объясняетъ это. „Я примѣтилъ (пишетъ онъ разъ къ своему покровителю Шувалову), что злоба преодолѣваетъ благость, подкапываясь и подъ святость Высочайшихъ повелѣній; по тому прошу перевести меня въ другой корпусъ, гдѣ не меньше могу принести пользы и чести Отечеству, дабы всѣ сказали: „Камень, его же небрегоша зиждущіи, сей бысть во главу угла, или бы, въ мое отбытіе изъ Академіи, явно оказалось, чего она лишилась, потерявъ такого человѣка, который чрезъ толь много лѣтъ украшалъ оную и всегда съ гонителями наукъ боролся, не смотря на свои опасности“ (письмо 1754 г.). Въ послѣднихъ словахъ — ключъ ко всей дѣятельности Ломоносова и отношеніямъ его къ товарищамъ по академіи и правленію ея.

„Борьба съ гонителями наукъ“ — вотъ, стало-быть, что предпочтительно занимало Ломоносова. Онъ испыталъ на себѣ самомъ все превосходство и пользу знанія, и потому всю жизнь посвятивъ на усвоеніе его, разработку и передачу другимъ, преимущественно же своему, какъ онъ любилъ выражаться, Россійскому роду. „За общую пользу, а особливо за утвержденіе наукъ въ Отечествѣ, противъ отца своего роднаго возстать за грѣхъ не ставлю.— Я бы охотно молчалъ и жилъ въ покоѣ, да боюсь наказанія отъ правосудія и Всемогущаго Промысла, который не лишилъ меня дарованія и прилежанія въ ученіи и нынѣ дозволилъ случай, далъ терпѣніе и благородную упрямку и смѣлость къ преодолѣнію всѣхъ препятствій къ распространенію наукъ въ Отечествѣ, что мнѣ всего въ жизни дороже“. Это было такъ же, какъ извѣстно, всего въ жизни дороже и самому высокому основателю академіи, Петру I, собственноручно правившему уставъ ея, по коему она должна была стремиться къ двумъ цѣлямъ — совершенствованію наукъ и водворенію ихъ въ Россіи. „Съ этою цѣлью опредѣляются, говоритъ второй уставъ академіи, данный ей Елисаветой, такіе люди, которые заняты безпрестаннымъ трудомъ, чтобъ дѣлать свои примѣчанія, читать книги и вновь сочинять ихъ, и еще такіе, которые обучаютъ приданныхъ имъ“. Намѣреніе было, слѣдовательно, подготовить, со временемъ, избраннѣйшихъ

изъ нихъ къ званію академиковъ. Потому уже при самомъ открытіи академіи число академиковъ показалось только 12, между тѣмъ какъ адъюнктовъ, назначавшихся къ дальнѣйшему распространенію образованія, 48, въ томъ числѣ половина непремѣнно изъ славянскаго народа.

Возвратясь изъ-за границы, что же находитъ Ломоносовъ въ этой академіи? Въ ней, съ самаго ея основанія, свила уже себѣ тепленькое гнѣздышко заѣзжая народность, которая, забывъ, кто она, гдѣ и для чего призвана, вздумала распоряжаться, словно въ своемъ домѣ, „поставивъ за законъ, говоритъ Ломоносовъ, Махіавелево ученіе, что все должно употреблять къ своимъ выгодамъ, какъ бы то ни было вредно ближнему или цѣлому обществу“ („Краткая Исторія“, § 71). Эльзасскій нѣмецъ, Шумахеръ, втершись въ знакомство съ племянникомъ Лефорта въ Парижѣ, прибылъ съ нимъ въ Петербургъ и черезъ связи получилъ въ новоучреждаемой медицинской канцеляріи мѣсто секретаря для иностранной переписки, затѣмъ мѣсто библіотекаря и надзирателя кабинета, помогалъ Блументросту въ составленіи проекта для Академіи Наукъ, который, какъ президентъ ея, опредѣлилъ его секретаремъ, поручивъ съ тѣмъ имѣть ему и часть хозяйственную. „Скудный въ наукахъ и оставивъ вовсе упражненіе въ оныхъ, говоритъ Ломоносовъ, этотъ человѣкъ старался единственно о снисканіи себѣ повѣренности у своего начальника и у другихъ придворныхъ по приватнымъ услугамъ. Опираясь на это, онъ поступалъ съ Академиками не такимъ образомъ, какъ бы должно было ему оказывать себя предъ людьми, такъ учеными и въ разсужденіи наукъ великими, но, по высокомѣрію, презиралъ оныхъ, дѣлалъ многія досады и сдалался, наконецъ, бичемъ ихъ (flagellum Professorum). Напрасно печалились они всюду, въ самомъ даже Сенатѣ не могли ничего успѣть, „за тѣмъ, что пріобыкши быть всегда при наукахъ (замѣчаетъ далѣе Ломоносовъ), не навыкли разносить по знатнымъ домамъ поклоновъ“. Почему многіе потребовали себѣ увольненія и, такимъ образомъ, тѣ, „кои только великимъ именемъ Петровымъ, подвигшись, выѣхали въ Россію, вытѣсненные, отъѣхали, утирая слезы“ (тамъ же, § 65), а на ихъ мѣсто поступили послушные секретарю. Однихъ привязывалъ онъ къ себѣ „разными послугами, видами на повышеніе, при-

бавкою жалованья, а другихъ, осмѣлившихся иногда противорѣчить, смирялъ удержаніемъ онаго, принималъ и отрѣшалъ по своей волѣ, не разсуждая ихъ достоинствъ, нетокмо смотря, кто ему былъ болѣе благосклоненъ или надобенъ, всѣвалъ между ними вражды, вооружая молодшихъ на старшихъ и представляя ихъ Президентамъ безпокойными, пресѣкалъ способы употреблять въ пользу свое знаніе всегдашнею скудостію и недостаткомъ нужныхъ книгъ и инструментовъ, а деньги, на то отпускавшіяся, тратя, по своимъ прихотямъ, на иныя разныя издержки, до наукъ не надлежащія, какъ-то на безпрестанныя починки и перепочинки, при чемъ пользовался безпрерывными подрядами, покупками и выписываніемъ матеріяловъ изъ за моря, такъ что Академія, по большей части, была преобращена въ фабрику; почему, по таковымъ пристрастнымъ и коварнымъ поступкамъ не могъ инако состоять Академическій корпусъ, какъ въ великомъ непорядкѣ и въ тратѣ казны, не на то, къ чему она опредѣлена, а на совсѣмъ иное, что стоило многія тысячи, пользы же наукамъ отъ того не было ни какой, кромѣ тѣмъ, коимъ всегдашніе подѣлки и передѣлки прибыль приносятъ. Вышепоказанными вредными происками и утѣсненіями, шумами и спорами, а особливо посторонними и до наукъ не надлежащими дѣлами, коль много въ сорокъ лѣтъ времени потеряно, то можно видѣть изъ худыхъ въ наукахъ успѣховъ, изъ Канцелярскихъ журналовъ, наполненныхъ типографскими, книгопродажными, грыдоровальными и другими ремесленными и торговыми дѣлами, которыми такъ время тратится, что мало досуга остается стараться о главномъ дѣлѣ, о наукахъ, по чему въ журналахъ хотя многократно представлялось, чтобы оное прекратить, однако безъ успѣха, за тѣмъ, что товарищи мои, замѣчаетъ Ломоносовъ, тѣмъ больше могли себя выставить многодѣльными и прилежными, чего они не могли показать по наукамъ, отъ того въ этихъ журналахъ о ученыхъ дѣлахъ рѣдко что и найдется. „Естьли бы хотя Университетъ и Гимназія, состоящія при Академіи, были учреждены съ начала, какъ нынѣ происходятъ подъ особливымъ моимъ смотрѣніемъ, продолжаетъ далѣе Ломоносовъ, гдѣ въ 4 года произведены 20 студентовъ, то по сіе время было бы ихъ въ производствѣ до двухъ сотъ человѣкъ, и чаятельно еще бы многочисленнѣе,

за тѣмъ, что за добрымъ смотрѣніемъ дѣла должны происходить съ приращеніемъ. А коль сіе надобно въ Россіи, показываетъ великій недостатокъ природныхъ Докторовъ, Аптекарей, Лѣкарей, Механиковъ, Юристовъ, ученыхъ Металлурговъ и другихъ, коихъ много бы имѣть можно въ 40 лѣтъ отъ Академіи, между тѣмъ какъ въ правленіе Шумахеромъ въ 30 лѣтъ не произошло ни единаго человѣка!" Да и при завѣдываніи обоими сими учрежденіями Ломоносову иногда до слезъ доходило; ибо, видя бѣдныхъ гимназистовъ въ скудости, не могъ онъ выпросить для нихъ ничего нужнаго. Все было употреблено, чтобы какъ можно препятствовать профессорамъ въ преподаваніи, а для большаго въ томъ успѣха, самую даже каѳедру перенесли въ другое мѣсто. Когда были представлены регламенты и штаты для университета и гимназіи, составленные Ломоносовымъ, „на просмотрѣніе и дѣланіе примѣчаній Профессорами", то одинъ изъ нихъ спорилъ противъ числа студентовъ и гимназистовъ до того, что, наконецъ, съ яростію вскричалъ: „Куда, де, столько Студентовъ и Гимназистовъ? Куда ихъ дѣвать и употреблять будемъ!"—„А это говорилъ онъ, прибавляетъ Ломоносовъ, не свое, но повторялъ только слова своего патрона, который всегда твердилъ и другимъ внушалъ: „Куда намъ со студентами?". А когда нѣкоторые изъ сихъ молодыхъ людей, „брошенные безъ призрѣнія, скитаясь не малое время въ подлости, вынуждены напослѣдокъ были обратиться съ просьбой въ Сенатъ, который, призвавъ къ отвѣту виновника ихъ бѣды (Шумахера), сдѣлалъ ему чувствительный выговоръ съ угрозами, онъ, возвратясь, главныхъ на себя просителей билъ по щекамъ и высѣкъ батогами" (тамъ же, § 13). Но безпорядки не прекращались, и хотя за нихъ и „пренебреженіе ученія Россійскаго юношества", наряжена была слѣдственная комиссія, грозившая, „за испроверженіе наукъ и похищеніе многой казны", заслуженнымъ наказаніемъ, но по вліянію одного сильнаго тогда при Дворѣ человѣка иностраннаго (принца Гомбургскаго), все обрушилось на самихъ же жалобщиковъ; они же присуждены были, за ложный якобы доносъ, къ тѣмъ наказаніямъ, которыхъ былъ бы достоинъ обвиняемый ими, если бы показаніе на него было справедливо, т.-е. къ наказанію на тѣлѣ и лишенію состоянія, а подсудимый прощенъ, для замиренія,

де, со шведами. Наконецъ, въ третій разъ дѣло дошло до Сената: всѣ уже профессора академіи единогласно подали жалобницу въ непорядкахъ и обидахъ, почему Сенатъ и указалъ, „чтобъ до наукъ надлежащія дѣла имѣть въ единственномъ вѣдѣніи Профессорскому собранію“ (тамъ же, § 19); но назначеніе въ президенты академіи молодого малороссійскаго гетмана (графа Разумовскаго) опять спасло виновнаго. „Будучи отъ Россійскаго народу (президентами до него все были нѣмцы: Блументростъ, Кейзерлингъ, Корфъ), новый Президентъ могъ бы много успѣть, когда бы хотя не много побольше вникалъ въ дѣла Академическія“. Но подружась съ воспитателемъ графа, извѣстнымъ Тепловымъ, начальникъ канцеляріи академіи совершенно опуталъ и его, внесши въ новосоставленный и утвержденный уставъ пунктъ о полномочіи президента, „который пунктъ съ того времени, восклицаетъ Ломоносовъ, главный есть поводъ худова Академическаго состоянія и нареканія Президенту“. Ссылаясь на него, добрые люди не переставали твердить, что „честь Президентскую наблюдать должно, и противъ его желанія и воли ничего не представлять и не дѣлать, когда что наукамъ въ прямую пользу дѣлать было надобно. Вѣдали, что когда безъ Президента ничего нельзя въ Академіи сдѣлать, а онъ будетъ во всемъ полагаться на нихъ, то, конечно, полномочіе они при себѣ удержатъ. Но Президентская власть не въ томъ состоитъ, замѣчаетъ Ломоносовъ, что власть его важна, но въ томъ, ежели Академію содержитъ въ цвѣтущемъ состояніи, старается о новыхъ приращеніяхъ ожидаемыя отъ ней пользы. Великая власть, употребленная въ противное, приноситъ больше стыда и нареканія“ (§ 67). „Удивительно ли потому, что опять многіе профессоры бросились безъ оглядки бѣжать изъ Россіи (Делиль, Гмелинъ, Крафтъ, Гензіусъ, Крузіусъ, Вильде и др.), которые, естественно, не молчали же у себя о томъ, что дѣется въ петербургской академіи, такъ что послѣдняя нашлась въ необходимости отправить нарочно за границу на казенный коштъ, подъ видомъ академическихъ нуждъ, надлежащихъ до книжнаго дѣла, особыхъ людей, коимъ въ инструкціи, между главными пунктами, предписывалось, „въ проѣздѣ своемъ, истреблять худыя мнѣнія объ Академіи и увѣрять объ ея цвѣтущемъ состояніи. Ибо для таковыхъ поступокъ

никто не хотѣлъ изъ иностранныхъ ученыхъ вступать болѣе въ Академію, и нужда была принимать на упалыя Профессорскія мѣста людей весьма посредственныхъ, но и тѣ склонялись нарочнымъ лишь увѣщаніемъ". Оттого, когда одинъ изъ профессоровъ академіи (Штрубъ) попросилъ было въ это время прибавки себѣ, ему отвѣтили: „Нынѣ Академія безъ Академиковъ, Канцелярія безъ Членовъ, Университетъ безъ Студентовъ, правила безъ важности, и, наконецъ, во всемъ замѣшательство еще по нынѣ неисцѣлимое!" (§ 36).

Каково же все это было видѣть, переносить и, при всемъ усиліи истребить, терпѣть неудачу Ломоносову, съ его свѣтлымъ творческимъ умомъ и страстнымъ чувствомъ, кипучей дѣятельностью и безпредѣльной до самопожертвованія любовью къ наукамъ и водворенію ихъ въ обожаемой имъ родной землѣ? Ломоносову уже съ перваго шага его въ академію подставлены были зоркимъ набродомъ препоны, чуявшимъ, какого полета прилетѣла пташка въ ихъ палестины,— препоны, время отъ времени возраставшія все болѣе и болѣе. И чего онъ не испыталъ: четыре года безполезно хлопочетъ объ устройствѣ, для упражненія въ своей химической наукѣ, при академіи лабораторіи, и когда, по вмѣшательству въ это дѣло самой государыни, устроена была она, вызвали изъ Голландіи другого (Бургава) на его мѣсто профессоромъ, а его сбирались опредѣлить къ переводамъ (§ 26—27); потомъ отнимаютъ у него помѣщеніе въ академіи (§ 29); отрѣшаютъ отъ присутствія въ профессорскомъ собраніи (§ 35); скопомъ возстаютъ противъ пожалованія его въ V классъ, хотя онъ въ прежнемъ состоялъ уже девятый годъ, служа около 30 лѣтъ и отправляя до четырехъ профессій сверхъ дѣлъ канцелярскихъ (§ 39); заподозриваютъ открытія и изобрѣтенія, сдѣланныя имъ въ любимыхъ его наукахъ; препятствуютъ въ чтеніи лекцій въ университетѣ и гимназіи; стараются удалить оба учрежденія изъ академическаго корпуса, а пріобрѣтенное новое зданіе для нихъ отдать подъ типографскія и другія ремесленныя дѣла (§ 51—52), такъ что необыкновенныхъ усилій стоило Ломоносову не допустить, чтобы, какъ выражался онъ, нѣмецкая фабрика не явилась въ лучшемъ состояніи, нежели науки (Протоколы 1764, 10 и 13 сентября, стат. 4, 5 и 11, въ „Чтеніяхъ", стран. 158—160); мѣшаютъ по управле-

нію географическимъ департаментомъ, не допуская до отправленія предложенныхъ имъ экспедицій въ разныя мѣста Россіи, и когда, несмотря на то, „по новому расположенію сочинены спеціальныя карты, несравненно полнѣе и исправнѣе прежнихъ, онѣ не были печатанія удостоены по тому лишь, что примѣчены неисправности въ наименованіи нѣкоторыхъ чухонскихъ деревень“ (§§ 53—54); послѣ, придравшись къ тому, что въ этомъ департаментѣ дѣло идетъ медленно, отдаютъ его другому (§ 55); останавливаютъ самое изданіе нѣкоторыхъ его сочиненій (напримѣръ грамматики на нѣмецкомъ языкѣ); отмалчиваются на запросъ правительства, въ какихъ именно городахъ слѣдуетъ завести гимназіи,—запросъ, вызванный особою запиской Ломоносова, поданной Шувалову; наконецъ, не только отнимаютъ у него университетъ и гимназію, но и самого его выживаютъ изъ академіи, и только, благодаря Орлову, считавшему, подобно Шувалову и Воронцову, за особую честь пользоваться его знакомствомъ, помогать и вступаться за него, повелѣніе это отмѣнено, и онъ остался при академіи.

Какъ ни сильны были, однако, покровители Ломоносова, а ему не суждено было видѣть осуществленіе единственнаго и верховнаго его желанія, „привести въ вожделѣнное теченіе Академическія Гимназію и Университетъ, откуда могли, по его мнѣнію, произойти многочисленные Ломоносовы“. Убѣдившись въ тщетѣ своихъ усилій, онъ было задумалъ устроить отдѣльный университетъ,—и снова потерпѣлъ полную неудачу. Напрасно представлялъ онъ, что „симъ всѣ истинные сыны Отечества отъ унынія возставлены, или лучше, воскрешены будутъ, а злые недоброхоты Россійскіе, въ коварныхъ своихъ происках, не такъ станутъ посягать на насъ дерзостно“. Напрасно восклицалъ: „Нынѣ время златой знатнымъ наукамъ вѣкъ возставить и отъ презрѣнія (въ которое, прибавляетъ онъ, я было самъ первый попалъ) избавить возлюбленный Россійскій родъ!“ (Письмо къ Орлову, отъ 26 іюля 1762 г.) Новый университетъ не былъ открытъ, да и бывшій при академіи неполный вскорѣ закрыли. Но Ломоносовъ не имѣлъ, по крайней мѣрѣ, горести видѣть то при жизни своей, и утѣшалъ себя хоть тѣмъ, что посчастливилось-таки ему „въ отчаяніи сѣтующее учащееся Россійское юношество оживить учрежденіемъ уни-

верситета въ сердцѣ Руси, при заведеніи коего, по собственнымъ его словамъ, онъ былъ „не просто участникомъ, но и первую причину къ основанію его подалъ“ (§ 67).

Стало-быть, постоянною руководящею мыслію Ломоносова въ его академической борьбѣ было: желаніе очистить Академію Наукъ отъ тѣхъ безпорядковъ въ ней, которые возмущали его и всѣхъ благомыслящихъ и истинныхъ сыновъ Россійскихъ, чтобъ она была „не для однихъ чужестранныхъ, но паче для своихъ; чтобы въ ней происходило обученіе россійскаго народа молодыхъ людей, а не иныхъ, въ которыхъ Россійской имперіи ни какой пользы быть не можетъ; чрезъ такіе непорядки и нерадѣніе никто изъ россійскихъ людей сначала Академіи не произведенъ“, писалъ онъ Сенату уже въ 1742 году (въ Доношеніи Нартова, Совѣтника Академической Канцеляріи), т.-е. при самомъ вступленіи своемъ въ академію, и никогда не переставалъ твердить то и стремиться къ осуществленію онаго, такъ что еще за полгода передъ смертью входилъ съ представленіемъ „объ отложеніи выписыванія изъ за моря въ Академію иностранныхъ профессоровъ, а о наученіи и произведеніи россійскихъ природныхъ, посылая ихъ въ иностранные университеты“ (Протоколъ Академ. Наукъ 10 сентября 1764 г., въ „Чтеніяхъ“, стран. 158, ст. 1). Слѣдовательно, вопросъ шелъ собственно объ утвержденіи наукъ въ Россіи, для чего требовалось прежде всего, конечно, вывести академію на настоящій путь, указанный ей самимъ Петромъ Великимъ, „обучивъ, черезъ посредство вызванныхъ въ нее заграничныхъ ученыхъ, Русскихъ молодыхъ людей, которые бы, бывъ помощниками своимъ наставникамъ, въ послѣдствіи смѣнили ихъ и, такимъ образомъ, Академія не только довольствовала бы сама себя своими учеными, но размножала ихъ и распространяла по всей Русской землѣ“, была бы въ полномъ смыслѣ русской въ Русскомъ царствѣ. Понятно, потому, что воительство Ломоносова за науки въ Россіи съ недоброхотами ихъ, коими были не одни лишь канцелярскіе, но, за весьма немногими исключеніями, почти всѣ не отъ россійскаго рода, глядѣвшіе на Россію, какъ на прибыльную статью, оставить которую за собой и своими подольше не прочь былъ каждый, воительство Ломоносова, говорю, составляло самое существенное явленіе въ его жизни,

не будь котораго, и Ломоносовъ не былъ бы вполнѣ Ломоносовымъ. Ибо кабинетная дѣятельность его никогда не разладила съ гражданскою, имѣя для себя одинъ и тотъ же источникъ, однѣ и тѣ же побужденія и цѣли. При такомъ гармоническомъ настроеніи всѣхъ душевныхъ силъ, его не страшило число противниковъ, которые поднимались на него отдѣльно и цѣлымъ соборомъ.

Самые недостатки Ломоносова (отъ которыхъ, повторяю, никто несвободенъ, какъ человѣкъ) проистекали, по большей части, отъ ревности его при осуществленіи своихъ плановъ, отъ увлеченія и, какъ извѣстно теперь, отъ систематически намѣреннаго во многихъ случаяхъ противорѣчія его недруговъ, которые, зная пылкій его нравъ и горячесть, умышленно вызывали его на какое-нибудь невзвѣшенное слово, неосмотрительный поступокъ, и, получивъ то, первые же били въ набатъ, спѣшили съ доносомъ и жалобой на обидчика. Такъ было при разсужденіи о власти президента по поводу пересмотра устава академіи въ 1755 году, когда Тепловъ всѣ предложенія Ломоносова объ обязанностяхъ президента нарочно сводилъ на то, что онъ своими разсужденіями оскорбляетъ начальника, хотя онъ предварилъ въ самомъ началѣ, что, говоря о президентской обязанности, всегда будетъ разумѣть президентовъ вообще, а не именно графа Гетмана, и своимъ притворно кроткимъ видомъ и плохо замаскированной неблагонамѣренностью довелъ Ломоносова дотого, что тотъ назвалъ его подьячимъ и т. п. Такъ было въ дѣлѣ съ Миллеромъ, который, по увѣренію Ломоносова, до того заѣлся со всѣми почти профессорами, что въ спорахъ никому не хотѣлъ уступить, ничего отмѣнить при просмотрѣ въ Профессорскомъ Собраніи 1-го тома его Сибирской Исторіи, и, дѣйствуя всегда съ отъявленными врагами Ломоносова, во всемъ прочемъ постоянно враждуя съ ними (§ 55), понятно, заставилъ Ломоносова смотрѣть на него, какъ на недруга русскаго просвѣщенія, желавшаго унизить его публично въ Рѣчи, предназначавшейся для произнесенія въ торжественномъ собраніи (1749 г.), выводя въ ней имя и начало русскихъ отъ всегдашнихъ ихъ враговъ — Шведовъ, и доказывая, въ слѣдъ за Байеромъ, что Варяго-Руссы были Норманы. По тогдашнему времени, государственнымъ отношеніямъ нашимъ, особливо къ

сосѣдямъ, съ которыми недавно еще были въ войнѣ (съ Шведами) и готовились къ другой (съ Пруссіей, по настоянію Австріи), по замысламъ нѣмцевъ въ предыдущее царствованіе, когда даже въ Шляхетномъ корпусѣ учили благородное россійское дворянство универсальной исторіи и исторіи нѣмецкаго государства, но не исторіи русской, замысламъ, правда, пріутихшимъ съ восшествіемъ на престолъ Елисаветы въ мірѣ административномъ, но не въ мірѣ академическомъ, по всѣмъ симъ обстоятельствамъ, естественно, Ломоносовъ, стоявшій въ челѣ борцевъ за свое на родной землѣ, заподозрилъ своего давнишняго и открытаго соперника въ зломъ умыслѣ противъ чести государства, и обвинилъ его въ оскорбленіи ея. При этомъ и Миллеръ велъ себя съ противниками и судьями донельзя возмутительно, ругая и безчестя ихъ словесно и письменно, грозя палкою и назвавъ того же самаго Теплова въ домѣ президента гораздо болѣе крѣпкимъ словцомъ, чѣмъ какимъ Ломоносовъ подарилъ его (§ 32). Такъ было и съ Шлецеромъ. Имѣя порученіе отъ самой императрицы, „желавшей видѣть Россійскую Исторію, написанной его штилемъ“, Ломоносовъ съ жаромъ занялся собраніемъ къ тому нужныхъ матеріаловъ, даже вынужденъ былъ объявить, какъ ни тяжело то было ему, что, при такой работѣ, „онъ не чаетъ уже такъ свободно упражняться въ самой любимѣйшей своей наукѣ, Химіи“ (§ 29). И вотъ является иноземецъ, выписанный ненавистнымъ ему Миллеромъ себѣ для вспоможенія, становится весьма удобнымъ орудіемъ въ рукахъ антирусской стороны, открывшей ему доступъ къ рукописямъ и т. п. и даже требовавшей, чтобы онъ передалъ въ употребленіе свои историческіе матеріалы и самыя сочиненія только что „начинавшему учиться Русскому языку“ (§ 63). Испытывая все это, слыша къ тому Миллеровы жалобы и представленія, и опасаясь, чтобы не воспослѣдовали такія же неудовольствія, какія были прежде отъ иностранныхъ, изъ Россіи выѣзжихъ, Ломоносовъ сильно вооружается противъ этого, по его убѣжденію, выскочки, насильно навязываемаго академіи, обличаетъ его въ неблагодарности къ выписавшему его и благодѣтельствовавшему переходомъ въ противный станъ, честитъ буйствомъ письменное требованіе его историческихъ трудовъ, а сочиненія его называетъ мелочами, для ученаго

свѣта неважными. Дѣйствительно, Шлецеръ до этого времени издалъ въ Россіи только: „О избраніи Королей въ Польшѣ“, печаталъ свою „Русскую Грамматику“, преисполненную, какъ замѣчаетъ Ломаносовъ, непростительныхъ погрѣшностей“, и представилъ Академіи записку, какимъ образомъ можно составить древнюю русскую исторію, въ которой доказывалъ необходимость обратить вниманіе на византійскихъ писателей. „Но на сей конецъ, говоритъ Ломоносовъ, уже за нѣсколько лѣтъ изыскано мною не токмо все, что въ Славенскихъ и съ ними сплетенныхъ писателяхъ, но и въ древнѣйшихъ Греческихъ (Геродотѣ, Страбонѣ, Птоломеѣ и др.) много пріискано для примѣчаній на древнюю часть россійской исторіи. Въ семъ случаѣ разсудить можно, сколько мнѣ помогло совершенное знаніе Россійскаго и Славенскаго языка, также и разумѣніе другихъ, имъ сродныхъ, діалектовъ, сверхъ того обширное чтеніе книгъ нашихъ историческихъ и отъ молодыхъ лѣтъ обращеніе въ церковныхъ обрядахъ и служебныхъ книгахъ, кои, по единству Вѣры, многіе представляютъ способы къ изъясненію нашихъ дѣлъ по Византійскимъ писателямъ, чѣмъ ни какой иностранецъ пользоваться не можетъ. По тому старанія Шлецеровы о семъ дѣлѣ намъ ненадобны (заключалъ онъ), а паче еще могутъ быть вредны по его прошибкамъ и по склонности къ предосудительнымъ шуткамъ“. (Мнѣніе Ломоносова, поданное въ Профессорское засѣданіе 11 октября 1764 г.).

Совершенствовать науку вездѣ можно, а на неподготовленной почвѣ — неразумно; помогать совершенствованію можно гораздо проще, не вводя никого въ заблужденіе, что и мы, де, помимо вещественнаго вклада, участвуемъ въ томъ еще умственнымъ, который, какъ не отъ насъ, то и не нашъ. Да и матеріальная жертва наша не вызоветъ спасибо со стороны тѣхъ, кто самъ не бѣднѣе насъ, а развѣ только заставитъ улыбнуться при видѣ такой нерасчетливой и безполезной для себя затраты. Стало-быть, не это побуждало Ломоносова такъ горячо вступаться за науку въ Россіи: сама Академія сознается теперь, что такая цѣль основателя ея въ ту пору была еще несовременная, но другая, болѣе практичная, и за нее-то Ломоносовъ со всѣмъ пыломъ души ухватился и старался, несмотря ни на какія препятствія,

содѣйствовать осуществленію ея, хоть бы пришлось поплатиться за то всѣмъ, что только можетъ быть дорого для человѣка на землѣ. Онъ зналъ хорошо, извѣдавъ на себѣ самомъ, что прежде слѣдуетъ усвоить добытое другими и, переваривъ усвоенное, стремиться къ самодѣятельности и самостоятельности, расширять предѣлы человѣческаго вѣдѣнія, „принести и отъ себя лепту въ общую сокровищницу“.

Изнемогая отъ долговременной и упорной борьбы, видя со всѣхъ сторонъ однѣ лишь черныя тучи на родномъ небосклонѣ, этотъ, сколько геніальный, столько же несокрушимой воли мужъ, никогда не унывавшій, но вѣчно свѣтлый и острый, говорилъ: „Науки претерпѣваютъ крайнее препятствіе, производятся новыя неудовольствія и нѣтъ къ лучшему надежды. Едино упованіе состоитъ, по Бозѣ, во всемилостивѣйшей Государынѣ нашей, которая, отъ истиннаго любленія къ наукамъ и отъ усердія къ пользѣ Отечества, можетъ быть, разсмотритъ и отвратитъ сіе нещастіе. Ежели жь того не воспослѣдуетъ, то вѣрить должно, что нѣтъ Божескаго благоволенія, чтобы науки возрасли и распространились въ Россіи“ (§ 71). Но, какъ извѣстно, заступленія не воспослѣдовало, и онъ, лежа уже на смертномъ одрѣ, съ грустью шепталъ одному изъ близкихъ къ нему: „Другъ мой! Я примѣчаю, что мнѣ скоро умереть: на смерть взираю равнодушно, но сожалѣю только о томъ, что не успѣлъ довершить, что началъ для пользы Отечества, для славы наукъ и для чести Академіи. Къ сожалѣнію вижу теперь, что благія намѣренія мои исчезнутъ вмѣстѣ со мною“. (Жизнь Ломоносова, въ Собраніи разныхъ сочиненій его, изд. 1803 г. С.-Пб., стран. XLIV).

Благія намѣренія его такъ-таки и исчезли съ нимъ: то, на что въ особенности и больше всего напиралъ Ломоносовъ — Академическій Университетъ, — вскорѣ, какъ замѣчено выше, по кончинѣ его былъ закрытъ, и этой мѣрой набродная стихія до того усилилась, что ее ничто уже не въ силахъ было подорвать: ни на значеніе президентовъ изъ Россійскаго рода, ни поступленіе въ ряды академиковъ сыновъ Россійскихъ, что, впрочемъ, происходило тогда лишь, когда не представлялось ни какой возможности избѣжать того. Но этѣ немногіе русскіе и подавну уже не могли продолжать задачи Ломоносова, по той простой при-

чинѣ, что ни въ одномъ изъ нихъ ничего не было Ломоносовскаго; при томъ каждый видѣлъ печальный исходъ его исполинской борьбы. Да и то надо замѣтить, что всѣ, вступавшіе въ этотъ своеобразный міръ, до того проникались духомъ и складомъ его, что почти всегда поглощались имъ, мыслили, чувствовали и дѣйствовали, словно вскормленные и вспоенные въ немъ, очень часто въ ревности о благосостояніи его обгоняя самихъ сѣдящихъ на корнѣ. Удивительно ли, что Ломоносовъ и въ современныхъ ему русскихъ академикахъ не видѣлъ лица русскаго? Если въ наше время русскимъ академикамъ частенько-таки приходится слышать отъ своихъ инородныхъ товарищей возгласы: „Вы, Русскіе Академики!...“ (съ извѣстнымъ оттѣнкомъ въ голосѣ и удареніемъ на словѣ „Русскіе“), что же слышали они, забитые и загнанные пришлыми отъ четырехъ вѣтровъ, въ Ломоносовское время, когда варяжская стихія въ русской Академіи господствовала, всѣмъ заправляла, все гнула на свою дугу, открыто глумилась надъ всѣмъ русскимъ, особливо русскимъ умомъ, наукой?

Съ этой точки зрѣнія, думаю, слѣдуетъ смотрѣть на многотрудный подвигъ мужа, память котораго мы, позднее, но признательное, потомство, собрались сегодня почтить въ храмѣ, обязанномъ ему своимъ бытіемъ, „славя Отечество наше съ таковымъ гражданиномъ (какъ сказано въ надписи на величественномъ памятникѣ, воздвигнутомъ на гробѣ его однимъ изъ его почитателей-меценатовъ) и горестно соболѣзнуя объ его кончинѣ“, и о неудачахъ, понесенныхъ имъ и „препятствовавшихъ простираться ему еще далѣе въ полезныхъ и славныхъ Отечеству его упражненіяхъ“ (Письмо къ Шувалову 1754 г.). Разсмотрѣвъ его дѣла и творенія, дѣйствительно убѣждаемся, что онъ, по вѣрному замѣчанію одного изъ первыхъ его біографовъ (въ Опытѣ историческаго словаря о Россійскихъ писателяхъ. С.-Пб. 1772 г.), „былъ мужъ великаго разума, высокаго духа и глубокаго ученія; бодрость и твердость его оказывались во всѣхъ его предпріятіяхъ“; онъ „служилъ (читаемъ далѣе на его памятникѣ) знатнымъ украшеніемъ Отечеству, Краснорѣчія, Стихотворства и Исторіи Россійской учитель, Мусіи первый въ Россіи безъ руководства изобрѣтатель (pictor autodidactos)“, и, смѣло прибавимъ мы къ этому голосу совре-

менниковъ его, былъ творецъ нынѣшняго письменнаго языка и словесности, какъ Петръ, котораго столько боготворилъ и воспѣвалъ, творецъ нашего государства, а „соединяя необыкновенную силу воли, по замѣчанію Пушкина, съ необыкновенною силою понятія, обнималъ всѣ отрасли просвѣщенія", былъ пламенный жрецъ и неутомимый требователь его, проповѣдникъ и распространитель въ отечествѣ своемъ почти всѣхъ знаній человѣческихъ, въ коихъ сталъ виновникомъ многихъ самыхъ замѣчательныхъ открытій, „эмпирикъ и идеалистъ" попеременно, первый руководитель и направитель мышленія и вѣдѣнія роднаго, первый чисто свой дѣятель науки, безстрашный борецъ за Русь и все русское на русской землѣ, подвижникъ и наставникъ нашъ, какъ намъ трудиться, одолѣвать неодолимое, стремиться, какъ выражались Римляне, per angusta ad augusta, какъ изжить жизнь, чтобъ и насъ помянули такимъ же добрымъ словомъ, какимъ мы, правнуки, поминаемъ его, прадѣда нашего, теперь, въ своей безпредѣльной къ нему признательности за его труды и подвиги, поднятые для Россіи, короче: какъ намъ надо служить своему народу и родинѣ и любить ихъ, чтобы и объ насъ сказали: „Онъ русскій, онъ соотечественникъ Ломоносова!" Хотя и почилъ онъ давно уже отъ дѣла и дѣланія своего, но, оставивъ по себѣ имя паче тысящъ, вѣчно будетъ присущъ намъ, по крайней мѣрѣ, дотолѣ, пока святорусская земля стоитъ, пока на Руси русскій духъ живетъ, или, какъ говоритъ нашъ народъ, Русью пахнетъ.

Я съ намѣреніемъ выбралъ предметомъ для себя въ этотъ торжественный день, посвященный празднованію памяти нашего приснопамятнаго воителя за насажденіе науки на русской землѣ, для русскихъ и посредствомъ русскихъ, отношеніе его къ тому учрежденію, въ которомъ онъ дѣйствовалъ, и показалъ, смѣю думать, основываясь на однихъ лишь подлинникахъ и излагая, для предупрежденія недоразумѣній, гдѣ то нужно было, почти все словами ихъ, его настоящее значеніе для столь любезной сердцу его Россіи. А насъ хотятъ, между тѣмъ, увѣрить, будто вся борьба Ломоносова за науку съ недоброхотами ея, какъ онъ обыкновенно выражался, происходила единственно отъ случайныхъ столкновеній съ современными ему академиками, отъ несо-

вершенствъ тогдашняго академическаго управленія, и отъ его характера горячаго, пылкаго и настойчиваго, забывая, что самъ же онъ сказалъ объ этомъ: „Я къ сему себя посвятилъ, говоритъ онъ, чтобы до гроба моего съ непріятелями наукъ Россійскихъ бороться, какъ уже борюсь двадцать лѣтъ. Стоялъ за нихъ съ молода, на старости не покину“. (Письмо къ Теплову 1761 г.). Стало-быть, одно изъ двухъ: или тѣ, кто утверждаетъ это, не совсѣмъ вникли въ его показанія, не сообразили ихъ съ его дѣятельностью, или же, какъ называютъ такихъ людей Сербы, суть уже сувыше мудры. *Бодянскій.*

195629/7

*PB-46110-SB
5-19T

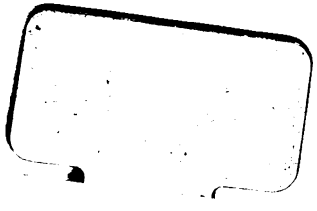
*PS-40110-53
S-137

D.4 27. A

401867/4

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

CANCELLED
E JAN 75 H